Страница любви

Автор:
Эмиль Золя

Страница любви

Эмиль Золя

Ругон-Маккары #8

Эмиль Золя (1840–1902) – знаменитый французский романист, творчество которого ознаменовало новый этап развития реализма. Панорамные картины социальной действительности, острые разоблачения пороков общества в грандиозной эпопее «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи», явились результатом глубокого изучения писателем жизненного материала, его тонкой наблюдательности и большого художественного воображения. В данном издании представлен роман «Страница любви», входящей в состав эпопеи «Ругон-Маккары». Это подлинная история любви, страница, небрежно вырванная из книги жизни… Описывая интимную драму главной героини, Эмиль Золя показал столкновение идеала и реальной жизни, когда глубокие искренние чувства становятся несовместимыми с реальной действительностью, опошляются и гибнут.

Эмиль Золя

Страница любви

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2008

© ООО «РИЦ Литература», 2008

* * *

Часть первая

I

Ночник из синеватого стекла горел на камине, заслоненный книгой; полкомнаты тонуло в тени. Мягкий свет пересекал круглый столик и кушетку, струился по широким складкам бархатных портьер, бросал голубоватый отблеск на зеркало палисандрового шкафа, стоявшего в простенке. В гармоничности буржуазного убранства комнаты, в синеве обоев, мебели и ковра было в этот ночной час нечто от смутной нежности облака. Против окон, в тени, также обтянутая бархатом, темной громадой высилась кровать; на ней светлым пятном выделялись простыни. Элен спала, сложив руки, в спокойной позе матери и вдовы; слышалось ее тихое дыхание.

В тишине пробило час. Шумы улицы давно умолкли. Сюда, на высоту Трокадеро, доносился лишь отдаленный рокот Парижа. Легкое дыхание Элен было так ровно, что не колебало целомудренных очертаний ее груди. У нее был правильный профиль, тяжелый узел каштановых волос; она спала мирным и крепким сном, склонив голову, словно к чему-то прислушивалась, засыпая. В глубине комнаты широким провалом чернела открытая дверь.

Не слышалось ни звука. Пробило половина второго. Маятник стучал слабеющим стуком, уступая власти сна, сковавшего комнату. Ночник спал, спала мебель. На столике, рядом с потушенной лампой, спало рукоделие. Лицо Элен во сне сохраняло обычное для него выражение серьезности и доброты.

Когда часы пробили два, покой был нарушен. Из мрака соседней комнаты донесся вздох. Зашуршала простыня, и снова все затихло. Затем послышалось прерывистое дыхание. Элен не шевельнулась. Но вдруг она приподнялась на постели: ее разбудил невнятный лепет страдающего ребенка. Еще полусонная, она поднесла руки к вискам и, услыхав глухой стон, соскочила на ковер.

– Жанна! Жанна!.. Что с тобой? Скажи мне! – воскликнула она.

Ребенок молчал. Подбегая к камину за ночником, она прошептала:

– Боже мой! Ей с вечера нездоровилось. Не надо мне было ложиться.

Элен поспешно вошла в соседнюю комнату, – там уже наступило гнетущее молчание. Фитиль ночника, утопая в масле, отбрасывал зыбкий свет, тусклым кружком мерцавший на потолке. Склонившись над железной кроваткой, Элен сначала ничего не могла разглядеть. Потом в синеватом свете, среди откинутых простынь, она увидела Жанну; девочка вся вытянулась, запрокинула голову, мускулы шеи напряжены, одеревенели. Прелестное худенькое личико искажено судорогой; открытые глаза вперились в карниз портьеры.

– Боже мой! Боже мой! – вскрикнула Элен. – Боже мой! Она умирает.

Поставив ночник, она дрожащими руками ощупала дочь. Ей не удалось найти пульс. Казалось, сердце девочки перестало биться. Ручки, ножки были судорожно вытянуты. Элен обезумела.

– Она умирает! Помогите! Моя девочка! Моя девочка! – охваченная ужасом, бормотала Элен.

Она вернулась в свою спальню, бросаясь из стороны в сторону, натыкаясь на мебель, не сознавая, куда идет. Потом снова вбежала в комнату дочери, снова припала к ее кроватке, продолжая звать на помощь. Она обняла Жанну, она целовала ее волосы, гладила ее, умоляя ответить, сказать хоть одно слово. Что у нее болит? Не хочет ли она давешнего лекарства? Не полегчает ли ей от свежего воздуха? И она упорствовала в своих расспросах, страстно стремясь услышать звук голоса девочки.

– Скажи мне, Жанна!.. О, скажи мне, молю тебя!

Боже мой! И не знать, что делать! Такая беда – вдруг, среди ночи! Даже света нет. Мысли Элен путались. Она продолжала разговаривать с дочерью, задавая ей вопросы и сама же отвечая на них. Что у нее болит? Животик? Нет, горло. Все обойдется. Главное – спокойствие. И она делала нечеловеческие усилия, чтобы сохранить присутствие духа. Но чувствовать в своих руках неподвижное, одеревенелое тело дочери было выше ее сил, раздирало ей сердце. Она, не

отрываясь, смотрела на девочку, судорожно застывшую, бездыханную, она пыталась здраво рассуждать, побороть потребность кричать во весь голос. Вдруг, помимо воли, крик вырвался из ее груди.

Она пробежала через столовую и кухню, восклицая:

– Розали! Розали! Скорей доктора! Моя девочка умирает!

Служанка, спавшая в каморке за кухней, разахалась. Элен бегом вернулась в спальню. Она топталась на месте в одной сорочке, казалось, не чувствуя холода морозной февральской ночи. Неужели служанка даст ее дочурке умереть? Не прошло и минуты, как Элен опять метнулась в кухню, оттуда назад, в спальню. Порывисто, ощупью она надела юбку, набросила на плечи шаль. Она опрокидывала мебель, наполняя исступленным отчаянием комнату, только что дышавшую таким безмятежным покоем. Затем, в ночных туфлях, не закрывая за собой дверей, она сбежала с четвертого этажа, убежденная, что никто, кроме нее, не сможет привести врача.

Привратница выпустила ее. Элен очутилась на улице; в ушах у нее звенело, мысли путались. Быстро пройдя улицу Винез, она позвонила у двери доктора Бодена, уже и раньше лечившего Жанну. Прошла вечность. Наконец вышла служанка и сказала, что доктор у роженицы. Элен, ошеломленная, осталась стоять на тротуаре. В Пасси она не знала другого врача. Минуту-другую она бесцельно шла по улице, вглядываясь в дома. Дул ледяной ветерок; Элен ступала в туфлях по рыхлому, выпавшему с вечера снегу. Она неотступно видела перед собой дочь; мысль, что ребенок умрет по ее вине, если она тотчас не найдет врача, терзала Элен. Она повернула обратно по улице Винез и вдруг отчаянно зазвонила в первый попавшийся ей звонок. Будь что будет, она все-таки спросит; может быть, ей дадут адрес. Отворять не торопились. Она снова позвонила. Легкая юбка под ветром облипала ей ноги, пряди волос разлетались.

Наконец лакей отпер и сказал, что доктор Деберль уже в постели. Значит, Господь не оставил ее: она позвонила у двери врача! Оттолкнув лакея, Элен вошла. Она повторяла:

– Мой ребенок, мой ребенок умирает! Скажите доктору, чтобы он вышел ко мне!

То был небольшой особняк со штофными обоями по стенам. Элен поднялась на второй этаж, отталкивая лакея, отвечая на все его доводы, что ее ребенок умирает. Войдя в какую-то комнату, она согласилась подождать. Но как только расслышала, что врач одевается в соседней комнате, подошла и заговорила с ним через дверь:

– Скорее, сударь, умоляю вас! Мой ребенок умирает!

А когда врач вышел, в домашней куртке, без галстука, она увлекла его за собой, не дав ему как следует одеться. Он узнал ее. Элен жила в соседнем доме, принадлежавшем ему. Она вдруг вспомнила об этом, когда доктор, желая сократить путь, провел ее через сад и калитку, соединявшую оба домовладения.

– Верно, – пробормотала она. – Ведь вы врач, я это знала… Поймите – я с ума схожу… Скорее!

У лестницы Элен настояла на том, чтобы он прошел первым. Приведи она к себе самого Господа Бога – и то она не воздала бы ему больших почестей.

Наверху Розали, не отходившая от Жанны, успела зажечь лампу на круглом столике. Войдя, врач тотчас взял лампу и вплотную поднес к девочке, застывшей в страдальческой неподвижности. Только головка соскользнула с подушки да по лицу пробегала частая дрожь. С минуту врач молчал, плотно сжав губы. Элен с трепетом смотрела на него. Уловив умоляющий взгляд матери, он пробормотал:

– Ничего серьезного… Но не следует оставлять ее здесь. Ей нужен воздух.

Элен сильным движением взяла девочку на руки. Она готова была расцеловать врачу руки за его добрые слова; сладость надежды проникла в ее душу. Но едва только она уложила Жанну на свою широкую кровать, как тщедушное тельце девочки вновь забилось в сильнейших судорогах. Врач снял абажур с лампы. Яркий свет разлился по комнате. Приоткрыв окно, он приказал Розали выдвинуть кровать из-под занавесок.

– Но ведь она умирает, доктор… Смотрите, смотрите. Я не узнаю ее, – лепетала Элен, вновь охваченная страхом.

Он не отвечал, внимательным взглядом следя за ходом припадка. Немного погодя он сказал:

– Пройдите в альков, держите ее за руки, чтобы она себя не исцарапала. Осторожно, тихонько… Не волнуйтесь. Припадок должен идти своим чередом.

Наклонясь над кроватью, они вдвоем держали девочку, – тело ее судорожно дергалось. Врач доверху застегнул куртку, чтобы закрыть голую шею. Элен все еще была в шали, которую, уходя, набросила на плечи. Но Жанна, кидаясь из стороны в сторону, сдернула край шали, расстегнула врачу куртку. Они этого не заметили. Ни он, ни она не видели себя.

Постепенно судороги стихли. Девочка, казалось, впала в полное изнеможение. Хотя врач уверял Элен, что припадок кончился благополучно, он все же казался озабоченным. По-прежнему не спуская глаз с больной, он начал задавать лаконичные вопросы Элен, все еще стоявшей в алькове между стеной и кроватью.

– Сколько ей лет?

– Одиннадцать с половиной, доктор.

Наступило краткое молчание. Покачав головой, врач нагнулся и, приподняв опущенное веко Жанны, внимательно осмотрел слизистую оболочку. Затем, не поднимая глаз на Элен, он возобновил расспросы:

– Бывали у нее судороги в раннем детстве?

– Бывали. Но к шести годам они прекратились… Она у меня слабенькая. Уже несколько дней я видела, что ей нездоровится; она часто подергивалась, на нее нападала странная рассеянность.

– Известны ли вам случаи нервных заболеваний в вашей семье?

– Не знаю… Моя мать умерла от чахотки.

Она запнулась, стыдясь признаться, что ее бабушку пришлось поместить в дом умалишенных. Судьба всех ее предков была трагична.

– Внимание, – быстро сказал врач, – начинается новый приступ!

Жанна только что открыла глаза. Минуту-другую она дико озиралась, не говоря ни слова. Затем ее глаза уставились в одну точку, она всем телом откинулась назад, руки и ноги вытянулись и напряглись. Она была очень красна, но вдруг побледнела мертвенной бледностью. Судороги возобновились.

– Не отпускайте ее, – сказал врач, – держите ее за обе руки.

Он торопливо подошел к столику, на который, входя, поставил аптечку. Вернувшись с флаконом в руке, он дал девочке понюхать его. Но это подействовало, как сильнейший удар хлыста. Жанна так неистово рванулась, что выскользнула из рук матери.

– Нет, нет, только не эфир, – крикнула Элен, узнав лекарство по запаху. – Эфир приводит ее в исступление.

Они вдвоем едва могли совладать с Жанной. Девочку сводили ужасные судороги. Вся выгнувшись, опираясь на затылок и пятки, она словно переламывалась надвое, потом снова падала навзничь и бросалась от одного края кровати к другому. Кулачки ее были стиснуты, большой палец прижат к ладони; минутами она раскрывала руки, ловя растопыренными пальцами и комкая все, что ей ни попадалось. Нащупав шаль матери, она вцепилась в нее. Но особенно терзало Элен то, что она не узнавала свою дочь, и она сказала об этом врачу. Черты лица ее ангелочка, обычно такие кроткие, были искажены; глаза закатились, обнажив синеватые белки.

– Сделайте что-нибудь, умоляю вас, – прошептала она. – У меня нет больше сил, доктор.

Она вспомнила, что дочь одной из ее соседок в Марселе задохнулась во время такого же припадка. Уж не обманывает ли ее врач из сострадания? Каждую минуту ей казалось, что лица ее коснулся последний вздох Жанны. Тяжелое дыхание девочки то и дело прерывалось. Наконец, измучившись, Элен заплакала от жалости и страха. Слезы капали на невинное обнаженное тельце Жанны,

отбросившей одеяло.

Тем временем врач своими длинными гибкими пальцами слегка массировал шею девочки. Припадок ослабел. Еще несколько замедленных судорог – и Жанна бессильно затихла. Она лежала посредине кровати, вся вытянувшись, раскинув руки; голова, поддержанная подушкой, свисала на грудь. Она напоминала младенца Христа. Элен нагнулась и долгим поцелуем прильнула к ее лбу.

– Кончилось? – спросила она вполголоса. – Как вы думаете, будут еще припадки?

Врач ответил уклончивым жестом.

– Во всяком случае, они будут не так сильны, – сказал он.

Он попросил у Розали рюмку и графин воды. Налив рюмку до половины, он взял два пузырька, отсчитал капли и с помощью Элен, приподнявшей головку девочки, осторожно раздвинул стиснутые зубы Жанны и влил ей в рот ложку лекарства. Лампа горела ярким белым пламенем, освещая беспорядок спальни, сдвинутую с мест мебель. Одежда Элен, которую она, ложась спать, небрежно перекинула через спинку кресла, соскользнула на пол и лежала на ковре. Врач наступил на корсет и поднял его, чтобы он не попадался ему под ноги. От раскрытой постели, от разбросанного белья пахло вербеной. Вся интимная жизнь женщины была грубо обнажена. Доктор сам взял миску с водой, намочил полотенце и приложил его к вискам Жанны.

– Барыня, вы простудитесь, – сказала Розали, дрожавшая от холода. – Не закрыть ли окно? Слишком свежо.

– Нет, нет, – крикнула Элен. – Оставьте окно открытым. Не правда ли, доктор?

Легкие порывы ветра колебали занавески. Элен не ощущала холода, хотя шаль соскользнула с ее плеч, приоткрыв грудь; прическа ее растрепалась, своевольные пряди волос беспорядочно ниспадали до самого пояса. Она высвободила голые руки, чтобы проворнее действовать ими, забыв все на свете, охваченная страстной любовью к своему ребенку. Возле нее доктор, все еще озабоченный, тоже не думал о том, что куртка у него расстегнута, что Жанна сорвала с него воротничок.

– Приподнимите ее немножко, – сказал он. – Нет, не так. Дайте мне вашу руку!

Он сам просунул руку Элен под голову девочки, чтобы влить ей в рот еще ложку лекарства. Немного погодя он подозвал Элен к себе. Он распоряжался ею, как помощником, а она, видя, что Жанна как будто успокаивается, благоговейно повиновалась ему.

– Подойдите сюда… Положите голову девочки себе на плечо, я хочу ее выслушать.

Элен повиновалась. Врач наклонился над ней, чтобы приложить ухо к груди Жанны. Нагибаясь, он коснулся щекой обнаженного плеча Элен. Прислушиваясь к биению сердца ребенка, он мог бы услышать, как бьется сердце матери. Когда он выпрямился, его дыхание слилось с дыханием Элен.

– Здесь все в порядке, – спокойно сказал он, к великой радости Элен. – Уложите девочку спать. Не нужно больше ее мучить.

Но разразился новый приступ. Он был гораздо слабее первого. У Жанны вырвалось несколько бессвязных слов. Два других приступа, быстро последовавшие один за другим, затухли в самом начале. Девочка впала в забытье. Это снова обеспокоило врача. Он уложил ее, высоко приподняв ей голову, накрыл одеялом до самого подбородка и около часа просидел возле нее, казалось, желая дождаться, пока дыхание снова станет нормальным. По другую сторону кровати неподвижно стояла Элен.

Мало-помалу глубокий покой разлился по лицу Жанны. Лампа озаряла его золотистым светом. Оно вновь обрело свой очаровательный овал, слегка удлиненный, изяществом и тонкостью напоминавший козочку. Широкие веки прекрасных глаз, синеватые и прозрачные, были опущены. Под ними угадывалось темное сияние взгляда. Тонкие ноздри слегка напряглись; вокруг рта, несколько большого, блуждала смутная улыбка. Она спала, разметав свои черные как смоль волосы.

– Теперь кончено, – сказал врач вполголоса.

Он повернулся и начал убирать флаконы, готовясь уйти. Элен с умоляющим видом подошла к нему.

– Ах, доктор, – прошептала она. – Не оставляйте меня. Побудьте еще несколько минут. Вдруг опять начнется приступ… Ведь вы ее спасли!

Он знаком уверил Элен, что опасаться уже нечего; однако, желая успокоить ее, остался. Она давно уже услала служанку спать. Серый мглистый свет вскоре забрезжил на снегу, устилавшем крыши. Доктор закрыл окно. Среди глубокой тишины они шепотом обменивались редкими словами.

– У нее нет ничего серьезного, – сказал он. – Но в ее возрасте требуется тщательный уход… Прежде всего следите за тем, чтобы ее жизнь текла ровно, счастливо, без потрясений.

Немного спустя Элен, в свою очередь, сказала:

– Она такая хрупкая, такая нервная… Я не всегда справляюсь с ней. Она радуется и печалится по пустякам так безудержно, что я тревожусь за нее… Она любит меня так страстно, так ревниво, что рыдает, когда я ласкаю другого ребенка.

Врач покачал головой, повторяя:

– Да, да… Впечатлительна, нервна, ревнива… Ее лечит доктор Боден, не так ли? Я поговорю с ним. Мы назначим ей серьезное лечение. Она в том возрасте, когда решается на всю жизнь вопрос о здоровье женщины.

Элен ощутила прилив благодарности за такое внимание к ее дочери.

– Ах, доктор! Как я признательна вам за все, что вы сделали!

Элен склонилась над кроватью, боясь, не разбудила ли этими словами Жанну; она произнесла их несколько повышенным голосом. Девочка спала, порозовевшая, все с той же смутной улыбкой на губах. В успокоенной комнате реяла истома. Портьерами, мебелью, разбросанной в беспорядке одеждой вновь овладела тихая, словно облегченная дремота. Все очертания сливались и расплывались в тусклом предутреннем свете, струившемся сквозь окна. Элен снова выпрямилась в узком пространстве между стеной и кроватью. Доктор стоял по другую сторону, а между ними, тихо дыша, спала Жанна.

– Ее отец часто прихварывал, – негромко сказала Элен, возвращаясь к недавним расспросам врача. – А я никогда не болела.

Врач – он еще ни разу не взглянул на Элен – поднял на нее глаза и не мог удержать улыбку: такой здоровой и сильной показалась она ему. Улыбнулась и Элен ласковой, спокойной улыбкой. Она была счастлива своим цветущим здоровьем.

Теперь доктор не сводил с нее глаз. Никогда еще он не видел более правильной красоты. Это была высокая, статная, темно-русая Юнона Ее каштановые волосы слегка отливали золотом. Когда она медленно поворачивала голову, ее профиль своей строгостью и чистотою линий приводил на память статую. Серые глаза и белые зубы освещали все лицо. Округлый, несколько массивный подбородок придавал ему выражение спокойное и твердое. Но более всего доктора Деберля поражала в этой матери ее величавая нагота. Шаль соскользнула еще ниже, открыв грудь, обнажив руки. Тяжелая бронзово-золотая коса, перекинутая через плечо, ниспадала на грудь. И в одной кое-как завязанной нижней юбке, растрепанная и полуодетая, она сохраняла такую недосягаемость, такую гордую чистоту и целомудренность, что взгляд мужчины, полный затаенного волнения, не смущал ее.

Теперь и Элен окинула беглым взглядом своего собеседника. Доктору Деберлю было лет тридцать пять; его слегка удлиненное лицо было гладко выбрито, взгляд проницателен, губы тонки. Глядя на него, она в свою очередь заметила, что шея у него голая. Так стояли они лицом к лицу, разделенные лишь спящей маленькой Жанной. Но это пространство, еще недавно огромное, теперь как будто сузилось. Ребенок дышал едва слышно. Элен медленным движением оправила шаль и закуталась в нее; доктор застегнул воротник куртки.

– Мама, мама, – бормотала Жанна во сне. Но вдруг она открыла глаза и, увидев врача, встревожилась.

– Кто это? Кто это? – спросила она.

Мать поцеловала ее.

– Спи, милочка! Тебе нездоровилось… Это друг.

Девочка казалась удивленной. Она ничего не помнила. Сон снова овладел ею. Она уснула, бормоча ласковым голосом:

– Я хочу баиньки… Покойной ночи, мамочка!.. Если это твой друг, он будет и моим другом.

Тем временем доктор уложил свою аптечку и, молча поклонившись, вышел. Элен с минуту прислушивалась к дыханию девочки. Сидя на краю постели, ни о чем не думая, недвижно глядя перед собой, она впала в дремоту. Лампа, которую она забыла потушить, тускнела в утреннем свете.

II

На следующий день Элен подумала, что ей следует пойти поблагодарить доктора Деберля. Настойчивость, с которой она принудила его следовать за собой, ночь, целиком проведенная им у постели Жанны, все это стесняло ее: его услуги, казалось, обязывали больше, нежели обычный визит врача. И все же она в течение двух дней колебалась. Что-то, – она сама бы не могла сказать, что именно, – удерживало ее. Эти колебания вновь и вновь заставляли ее думать о докторе Деберле; встретив его как-то поутру, она спряталась от него словно ребенок. Потом она очень досадовала на свою застенчивость. Ее спокойная прямая натура восставала против этой смутной неуверенности, вторгшейся в ее жизнь. Поэтому она решила, что в тот же день пойдет поблагодарить доктора.

Припадок Жанны разыгрался в ночь со вторника на среду. Наступила суббота. Жанна совершенно оправилась. Доктор Боден поспешил явиться; он был очень встревожен, но говорил о докторе Деберле с тем уважением, которое испытывает бедный, старый, мало кому известный врач к молодому, богатому и уже знаменитому собрату. Однако он рассказал с лукавой усмешкой, что благополучие сына исходит от отца доктора Деберля-старшего, которого в Пасси глубоко чтили. Сыну досталось наследство в полтора миллиона франков и богатая клиентура. Впрочем, поспешил добавить старик, это выдающийся врач, с которым ему, Бодену, очень лестно будет посоветоваться по поводу здоровья его маленького друга Жанны.

Около трех часов пополудни Элен с дочерью вышла на улицу. Им нужно было пройти всего несколько шагов по улице Винез и позвонить у двери соседнего особняка. Обе еще были в глубоком трауре. Им открыл лакей во фраке и белом

галстуке. Элен узнала просторную прихожую, обтянутую восточными тканями; но теперь жардиньерки справа и слева от входа были наполнены цветами. Лакей провел их в маленькую гостиную с обоями и мебелью цвета резеды. Остановившись, он ждал; Элен назвала себя:

– Госпожа Гранжан.

Лакей распахнул дверь другой гостиной, черной с золотом, необычайно роскошной, и, давая Элен дорогу, повторил:

– Госпожа Гранжан.

На пороге Элен невольно отступила Она увидела на другом конце комнаты, у камина, молодую особу, которая сидела на узком канапе, сплошь заполнив его своей необъятной юбкой. Против нее сидела пожилая гостья в шляпке и шали.

– Простите, – негромко сказала Элен, – я хотела бы видеть доктора Деберля.

И она снова взяла за руку Жанну, которую пропустила было вперед. Она была удивлена и смущена тем, что попала в гости к этой молодой даме. Почему она сразу не спросила доктора? Ведь она знала, что он женат.

Госпожа Деберль немного резким голосом заканчивала скороговоркой какой-то рассказ:

– О, это изумительно, изумительно! Она умирает с таким реализмом. Она хватается за грудь – вот так! – запрокидывает голову, лицо ее зеленеет… Клянусь, мадемуазель Орели, вам нужно посмотреть ее.

Тут она встала и подошла к двери, шумя платьем.

– Входите, сударыня, прошу вас, – сказала она с обворожительной любезностью. – Мужа нет дома… Но я буду очень рада, очень рада, уверяю вас… Верно, вот эта прелестная девочка была так больна той ночью? Присядьте на минутку, прошу вас!

Волей-неволей Элен пришлось сесть в кресло; Жанна робко примостилась на краешке стула. Госпожа Деберль снова удобно расположилась на канапе, пояснив со звонким смехом:

– Сегодня мой приемный день, – да, я принимаю по субботам. Вот Пьер и провожает всех в гостиную. На той неделе он привел ко мне полковника, больного подагрой.

– Что вы за ветреница, Жюльетта! – пробормотала пожилая гостья, мадемуазель Орели, небогатая старая приятельница, знавшая госпожу Деберль с раннего детства.

Наступило молчание. Элен окинула взглядом богато обставленную гостиную, черные с золотом портьеры и кресла, сиявшие ослепительным блеском позолоты. На камине, на рояле, на столах пышно распускались цветы. В зеркальные стекла окон струился ясный свет из сада, – там виднелись обнаженные деревья и черная земля. В гостиной было очень жарко, калорифер излучал ровное тепло; в камине медленно догорало одно-единственное толстое полено. Снова скользнув взглядом вокруг, Элен поняла, что сверкающая пышность гостиной – это искусно подобранная рамка. У госпожи Деберль были иссиня-черные волосы и молочно-белая кожа. Она была небольшого роста, несколько полна, медлительна и грациозна в движениях. Среди всего этого яркого великолепия ее бледное лицо под пышной прической золотилось румянцем. Элен нашла, что она прямо-таки очаровательна.

– Это ужасная вещь судороги, – продолжала госпожа Деберль. – Мой маленький Люсьен страдал ими, но только в самом раннем детстве. Воображаю, как вы переволновались, сударыня! Но теперь милая девочка, по-видимому, уже совсем здорова.

Растягивая фразы, она в свою очередь глядела на Элен, поражаясь ей, восторгаясь ее красотой. Никогда не случалось ей видеть женщину более величественную, чем эта вдова в строгих черных одеждах, облегавших высокий, стройный стан. Ее восхищение выразилось в невольной улыбке; она обменялась взглядом с мадемуазель Орели. Обе рассматривали Элен с таким наивным восхищением, что та в свою очередь улыбнулась.

Госпожа Деберль слегка откинулась на спинку канапе и спросила, играя веером, висевшим у ее пояса:

– Вы не были вчера на премьере в «Водевиле», сударыня?

– Я не бываю в театре, – ответила Элен.

– Ах, Ноэми изумительна, изумительна… Она умирает с таким реализмом… Она хватается за грудь – вот так! – запрокидывает голову, лицо ее зеленеет. Впечатление потрясающее!

Минуту-другую она разбирала игру актрисы, впрочем, хваля ее. Затем перешла на другие злободневные события парижской жизни: выставку картин, где она видела необыкновенные полотна, глупейший роман, который усиленно рекламировали, какое-то скабрезное происшествие – о нем она поговорила с мадемуазель Орели намеками. Она перескакивала от одной темы к другой, без устали и замедления, ощущая все это как свойственную ей атмосферу. Элен, чуждая этому мирку, довольствовалась ролью слушательницы, лишь изредка вставляя несколько слов, краткую реплику.

Дверь распахнулась, лакей доложил:

– Госпожа де Шерметт. Госпожа Тиссо.

Вошли две дамы, очень нарядные. Госпожа Деберль устремилась им навстречу; шлейф ее черного шелкового, богато отделанного платья был так длинен, что она, поворачиваясь, каждый раз отбрасывала его каблуком. В течение минуты слышалось быстрое щебетание тонких голосов:

– Как вы любезны! Мы совсем не видимся…

– Мы пришли насчет этой лотереи, знаете?..

– Как же, как же!

– О, нам некогда сидеть! Нужно еще побывать в двадцати домах.

– Что вы! Я вас не отпущу!

Наконец обе дамы уселись на краешке канапе. Высокие голоса вновь защебетали, еще более пронзительно:

– А? Вчера, в «Водевиле»!

– О! Великолепно!

– Вы знаете, она расстегивает лиф и распускает волосы. Весь эффект в этом.

– Говорят, она что-то принимает, чтобы позеленеть.

– Нет, нет, все движения у нее рассчитаны… но ведь надо было сначала их найти!

– Изумительно!

Дамы поднялись и ушли. Гостиная снова погрузилась в жаркую истому. Веяло пряным благоуханием гиацинтов, стоявших на камине. Слышно было, как в саду звонко ссорились воробьи, слетавшиеся на лужайку. Прежде чем вернуться на свое место, госпожа Деберль задернула на окне – оно приходилось против нее – штору из вышитого тюля, смягчив этим блеск позолоты в гостиной. Затем она снова уселась.

– Простите, – сказала она. – Меня осаждают.

И госпожа Деберль, все такая же любезная, заговорила с Элен более серьезно. Очевидно, она по толкам жильцов и прислуги принадлежавшего ей соседнего дома частично знала историю жизни Элен. Со смелостью, полной такта и, казалось, проникнутой дружеским чувством, она коснулась смерти ее мужа, ужасной смерти, постигшей его в гостинице, в отеле Дювар, на улице Ришелье.

– Вы ведь только что приехали, не так ли? Никогда раньше не бывали в Париже?.. Как это должно быть тяжко – такая утрата среди чужих людей, тотчас после долгой дороги, когда еще даже не знаешь, куда пойти!..

Элен медленно кивала головой. Да, она пережила страшные часы. Роковое заболевание обнаружилось на другой день после приезда, когда они собирались пойти в город. Элен не знача ни одной улицы, не знала даже, в какой части города она находится; неделю она неотступно просидела возле умирающего, слыша, как Париж грохочет под ее окнами, чувствуя себя одинокой, брошенной, затерянной, словно в глубине пустыни. Когда она впервые снова вышла на улицу, она была вдовой. Ее до сих пор охватывала дрожь при мысли об этой большой неуютной комнате со множеством пузырьков от лекарств и неразложенными чемоданами.

– Ваш муж был почти вдвое старше вас, как мне говорили, – осведомилась госпожа Деберль с видом глубокого участия, тогда как мадемуазель Орели вытягивала шею, чтобы не пропустить ни слова.

– О нет, – ответила Элен, – он был старше меня всего лет на шесть.

И в кратких словах она рассказала о своем браке, о той страстной любви, которую почувствовал к ней ее будущий муж, когда Элен жила со своим отцом, шляпником Муре, на улице Птит-Мари в Марселе; об упорном противодействии семьи Гранжан, богатых сахарозаводчиков, возмущенных бедностью девушки; о грустной, полутайной свадьбе после вручения официальных извещений родителям; о стесненных обстоятельствах, в которых они жили с мужем до смерти дяди, завещавшего им около десяти тысяч франков годового дохода. Тогда-то Гранжан, возненавидевший Марсель, и решил, что они переедут в Париж.

– Скольких лет вы вышли замуж? – спросила госпожа Деберль.

– Семнадцати.

– Как вы, верно, были хороши!

Разговор прервался. Элен, казалось, не расслышала этих слов.

– Госпожа Мангелен, – доложил лакей.

Появилась молодая женщина, скромная и застенчивая. Госпожа Деберль едва приподнялась с канапе. То была одна из ее протеже, пришедшая поблагодарить за какое-то одолжение. Она оставалась всего несколько минут и, сделав реверанс, ушла. Госпожа Деберль возобновила прерванную беседу. Она заговорила об аббате Жув – обе знали его. То был скромный викарий приходской церкви Нотр-Дам-де Грае в Пасси, но его добрые дела сделали его самым любимым и уважаемым священником во всем квартале.

– О, такая проникновенность! – прошептала с благочестивым видом госпожа Деберль.

– Он был очень добр к нам, – сказала Элен. – Мой муж познакомился с ним еще в Марселе. Как только он узнал о моем горе, он все взял на себя. Это он устроил нас в Пасси.

– У него, кажется, есть брат? – спросила Жюльетта.

– Да, его мать вторично вышла замуж… Господин Рамбо тоже знал моего мужа… Он открыл на улице Рамбюто большой магазин масел и южных продуктов и, кажется, много зарабатывает. Аббат и господин Рамбо – вот и весь мой двор, – весело добавила она.

Жанна, сидевшая на краешке стула, скучала и с нетерпением смотрела на мать. Ее тонкое личико приняло страдальческое выражение, как будто она сожалела обо всем, что тут говорилось; порою казалось, что она впитывает в себя пряные, крепкие ароматы гостиной, бросая искоса недоверчивые взгляды на мебель, словно изощренная чувствительность предупреждала ее о смутно грозящих опасностях. Затем ее взор с тиранническим обожанием вновь обращался к матери.

Госпожа Деберль заметила, что девочке не по себе.

– Маленькая барышня скучает оттого, что ей приходится быть рассудительной, как взрослые, – сказала она. – Возьмите-ка книжку с картинками на том столике.

Жанна встала, взяла альбом, но поверх книги взор ее умоляюще устремлялся на мать. Элен, очарованная вниманием, которым ее окружили, не двигалась; она была спокойного нрава и охотно оставалась часами на одном месте. Однако

после того, как лакей раз за разом доложил о приходе трех дам – госпожи Бертье, госпожи де Гиро и госпожи Левассер, – она сочла нужным встать.

– Останьтесь же, я должна показать вам моего сына! – воскликнула госпожа Деберль.

Круг сидевших у камина расширялся. Все дамы говорили разом. Одна сообщила, что она совершенно разбита: за последние пять дней она ни разу не ложилась раньше четырех часов утра. Другая горько жаловалась на кормилиц: хоть бы одна попалась честная! Потом разговор коснулся портних. Госпожа Деберль утверждала, что женщина не в состоянии сшить элегантное платье: это умеют только мужчины. Две дамы между тем беседовали вполголоса, и среди наступившего молчания вдруг прозвучало несколько сказанных ими слов; все засмеялись, лениво обмахиваясь веерами.

– Господин Малиньон, – доложил лакей.

Вошел высокий, безукоризненно одетый молодой человек. Его приветствовали негромкими восклицаниями. Госпожа Деберль, не вставая с места, протянула ему руку со словами:

– Ну, как вчера… в «Водевиле»?

– Омерзительно! – воскликнул он.

– Как – омерзительно?.. Она бесподобна, когда хватается за грудь и запрокидывает голову…

– Бросьте! Отвратительный реализм!

Начался спор. Кое-кто пытался защищать реализм. Но молодой человек решительно не признавал его.

– Ни в чем, слышите? – сказал он, повышая голос. – Реализм унижает искусство. Хорошие вещи нам в конце концов покажут со сцены!.. Почему Ноэми не была последовательной до конца? – И он сделал жест, возмутивший всех дам. Фи! Какая гадость!

Но госпожа Деберль снова вставила свою фразу о поразительном впечатлении, произведенном актрисой, а госпожа Левассер рассказала, что одна дама в бельэтаже упала в обморок, – и все сошлись на том, что Ноэми имела огромный успех. Это слово разом положило конец спору.

Молодой человек сидел в кресле, вытянув ноги среди широко расстилавшихся пышных юбок. По-видимому, он был здесь близким знакомым. Машинально сорвав цветок, он покусывал его. Госпожа Деберль спросила:

– Вы читали роман…

Но он, не дав ей договорить, ответил с видом превосходства:

– Я читаю только два романа в год.

Что касается выставки в «Кружке искусств», то на нее, по его словам, вообще не стоило тратить времени. Затем, исчерпав все злободневные темы, он подошел к Жюльетте и, облокотясь на спинку канапе, вполголоса обменялся с ней несколькими словами, тогда как остальные дамы оживленно беседовали между собой.

– Как! Он уже ушел! – воскликнула, обернувшись, госпожа Левассер. – Час назад я встретила его у госпожи Робино.

– Да, он ушел к госпоже Леконт, – сказала госпожа Деберль. – О, это самый занятой человек в Париже!

Обращаясь к Элен, следившей за этим разговором, она продолжала:

– Весьма благовоспитанный молодой человек, мы очень его любим. Он компаньон одного биржевого маклера. К тому же очень богат и в курсе всего, что происходит.

Дамы прощались:

– До свидания, дорогая, я рассчитываю на вас в среду.

– Прекрасно, в среду.

– Скажите, вы собираетесь на этот вечер? Никогда не знаешь, в каком обществе окажешься. Я пойду, если вы будете.

– Тогда буду, обещаю вам! Привет господину де Гиро!

Когда госпожа Деберль вернулась в гостиную, Элен стояла посреди комнаты. Жанна, взяв Элен за руку, прижималась к ней; легкими движениями беспокойных и ласкающих пальцев она увлекала мать к двери.

– Ах да, – прошептала хозяйка дома.

Она позвонила лакею.

– Пьер, скажите мадемуазель Смитсон, чтобы она привела Люсьена.

Все умолкли в ожидании: дверь снова открылась без доклада, по-семейному. Вошла красивая девушка лет шестнадцати в сопровождении круглолицего, румяного старичка.

– Здравствуй, сестра! – сказала девушка, целуя госпожу Деберль.

– Здравствуй, Полина!.. Здравствуйте, папа! – ответила та.

Мадемуазель Орели, все время сидевшая у камина, встала, чтобы поздороваться с господином Летелье. У него был большой магазин шелковых тканей на бульваре Капуцинок. Овдовев, он всюду вывозил младшую дочь, подыскивая для нее блестящую партию.

– Ты была вчера в «Водевиле»? – спросила Полина сестру.

– О, поразительно! – машинально повторила Жюльетта, поправляя перед зеркалом непокорную прядь волос. Полина состроила гримасу избалованного ребенка.

– Какая досада быть молодой девушкой! Ничего посмотреть нельзя. Вчера в полночь я дошла с папой до самого театра, чтобы узнать, имела ли пьеса успех.

– Да, – добавил ее отец, – мы встретили Малиньона. Ему очень понравился спектакль.

– Как! – воскликнула Жюльетта. – Он только что был здесь и утверждал, что пьеса омерзительна… Никогда не узнаешь его настоящего мнения.

– Много у тебя было народу? – спросила Полина, вдруг перескакивая на другую тему.

– Бездна – все мои знакомые дамы. Гостиная была все время битком набита… Я еле жива от усталости…

Вспомнив, что она забыла познакомить отца и сестру с Элен, она прервала себя:

– Мой отец и моя сестра… Госпожа Гранжан.

Завязался разговор о детях и их болезнях, так беспокоящих матерей. Но тут вошла в комнату гувернантка, мисс Смитсон, ведя за руку мальчика.

Госпожа Деберль резким тоном сказала ей по-английски несколько слов, упрекая ее за то, что она заставила себя ждать.

– А вот и мой маленький Люсьен! – воскликнула Полина и, громко шурша юбками, опустилась перед ним на колени.

– Оставь его, оставь! – сказала Жюльетта. – Поди сюда, Люсьен. Поздоровайся с этой маленькой барышней.

Мальчик в смущении шагнул вперед. Ему было не больше семи лет, толстенький, маленький, он был разряжен, как кукла. Заметив, что все смотрят на него с улыбкой, он остановился, устремив голубые удивленные глаза на Жанну.

– Иди же, – шепнула ему мать.

Вопросительно взглянув на нее, он сделал еще один шаг. То был неповоротливый мальчуган, с короткой шеей и капризно надутыми губами; он смотрел исподлобья, чуть нахмурив брови. По-видимому, он стеснялся Жанны – серьезной, бледной и одетой во все черное.

– Нужно и тебе быть полюбезнее, дитя мое, – сказала Элен дочери. Та не двигалась с места.

Жанна по-прежнему держалась за руку матери; она поглаживала пальцами ее руку между обшлагом и перчаткой. Опустив голову, она ожидала приближения Люсьена с тревожным видом нелюдимой и нервной девочки, готовой спастись бегством, если ее захотят приласкать. Однако, когда мать слегка подтолкнула ее, она в свою очередь сделала шаг вперед.

– Мадемуазель, вам придется поцеловать его, – сказала, смеясь, госпожа Деберль. – Дамам всегда приходится с ним брать на себя первый шаг… Какой же ты дурачок!

– Поцелуй его, Жанна, – сказала Элен.

Девочка подняла глаза на мать, потом, как бы смягченная растерянным видом мальчугана, посмотрела на его славное, смущенное личико и вдруг улыбнулась нежной, очаровательной улыбкой. Ее лицо просветлело под внезапным наплывом сильного внутреннего волнения.

– Охотно, мама, – прошептала она.

И, взяв Люсьена за плечи, почти приподняв его, она крепко поцеловала его в обе щеки. Тогда и он наконец поцеловал ее.

– Давно бы так! – воскликнули присутствующие.

Элен раскланялась и направилась к двери, сопровождаемая госпожой Деберль.

– Прошу вас, сударыня, – сказала она, – передайте мою глубокую благодарность вашему супругу… Он избавил меня той ночью от смертельной тревоги.

– Значит, Анри нет дома? – прервал ее господин Летелье.

– Нет, он вернется поздно, – ответила Жюльетта.

И, видя, что мадемуазель Орели встает, намереваясь выйти вместе с Элен, она добавила:

– Вы ведь остаетесь обедать с нами. Мы уговорились.

Старая дева, каждую субботу дожидавшаяся этого приглашения, решилась снять шаль и шляпу. В гостиной было нестерпимо душно. Господин Летелье только что открыл окно и неподвижно стоял перед ним, внимательно рассматривая куст сирени, уже начинавший пускать почки. Полина играла с Люсьеном, бегая с ним между стульев и кресел, стоявших в беспорядке после гостей.

На пороге госпожа Деберль протянула Элен руку жестом, полным дружеского чистосердечия.

– Позвольте мне… – сказала она, – мой муж говорил мне о вас, я почувствовала симпатию к вам. Ваше горе, ваше одиночество… Словом, я счастлива, что познакомилась с вами, и надеюсь, что наши отношения на этом не прервутся.

– Обещаю вам это и благодарю вас, – ответила Элен, растроганная таким порывом чувств со стороны дамы, показавшейся ей несколько сумасбродной.

Они глядели друг на друга, не разнимая рук, улыбаясь. Жюльетта ласковым голосом открыла причину своего внезапного дружеского расположения:

– Вы так красивы! Вас нельзя не полюбить.

Элен весело рассмеялась: ее красота не тревожила ее душевного покоя. Она позвала Жанну, внимательно следившую взглядом за играми Люсьена и Полины. Но госпожа Деберль еще на минуту задержала девочку.

– Вы ведь теперь друзья, попрощайтесь же! – сказала она.

И дети кончиками пальцев послали друг другу воздушный поцелуй.

III

По вторникам у Элен обедали господин Рамбо и аббат Жув. В начале ее вдовства они с дружеской бесцеремонностью приходили незваные и садились за стол, чтобы хоть раз в неделю нарушить уединение, в котором она жила. Потом эти обеды по вторникам сделались твердо установленным правилом. Участники их встречались, словно по обязанности, ровно в семь часов, всегда с той же спокойной радостью.

В этот вторник Элен, не желая упустить последние лучи заката, сидела у окна за шитьем в ожидании своих гостей. Она проводила здесь дни в сладостно-тихом покое. На этих высотах шумы города замирали. Элен любила эту просторную комнату, такую безмятежную, с ее буржуазной роскошью, палисандровой мебелью и синим бархатом обивки. Когда ее друзья, взяв на себя все хлопоты, устроили ее здесь, она первые недели страдала от несколько аляповатой роскоши, в которой господин Рамбо исчерпал свой идеал художественности и комфорта, к искреннему восхищению аббата, отступившего перед непосильной для него задачей; но в конце концов Элен стала чувствовать себя очень счастливой в этой обстановке, ощущая во всех вещах что-то крепкое и простое, как ее собственное сердце. Тяжелые портьеры, темная массивная мебель усугубляли ее спокойствие.

Единственным развлечением, которое Элен позволяла себе в долгие часы работы, было бросить порою взгляд на обширный горизонт, на громаду Парижа, расстилавшего перед ней волнующееся море своих крыш. Из ее уединенного уголка открывалась эта безбрежность.

– Мне больше ничего уже не видно, мама, – сказала Жанна, сидевшая рядом с ней на скамеечке.

Девочка опустила шитье на колени, глядя на заливаемый тенью Париж. Обычно она была очень тиха. Матери приходилось спорить с ней, чтобы уговорить ее выйти на улицу, по строгому предписанию доктора Бодена, Элен ежедневно отправлялась с дочерью на два часа в Булонский лес, – это было их единственной прогулкой. За полтора года они и трех раз не побывали в Париже. Нигде девочка не казалась веселей, чем в этой просторной синей комнате.

Матери пришлось отказаться от мысли учить ее музыке. Когда умолкала шарманка, игравшая в тиши квартала, Элен заставала дочь трепещущей, с влажными глазами. Сейчас она помогала матери шить пеленки для бедных детей в приходе аббата Жув.

Уже совершенно стемнело. Вошла Розали с лампой. Вся захваченная пылом стряпни, она казалась взволнованной. Обед по вторникам был здесь единственным событием недели, нарушавшим обычный ход жизни.

– Разве наши гости не придут сегодня, сударыня? – спросила она.

Элен посмотрела на стенные часы.

– Без четверти семь; сейчас придут.

Розали была подарком аббата Жув. Он привел ее к Элен прямо с Орлеанского вокзала, в день ее приезда, так что она не знала ни одной парижской улицы. Ее прислал ему бывший товарищ по духовной семинарии, сельский священник в Восе. Она была приземистая, толстая, с круглым лицом под узким чепчиком, с черными жесткими волосами, приплюснутым носом и ярко-красными губами. Розали была мастерицей готовить легкие, изысканные блюда: недаром она выросла в доме священника, на попечении своей крестной матери, его служанки.

– А, вот господин Рамбо, – сказала она, идя отворять дверь даже прежде, чем успел раздаться звонок.

В дверях показался господин Рамбо, высокий, плечистый, с широким лицом провинциального нотариуса. Хотя ему минуло всего сорок пять лет, голова у него была седая, но большие голубые глаза сохраняли удивленное, детски наивное и кроткое выражение.

– А вот и господин аббат! Все в сборе, – воскликнула Розали, снова открывая дверь.

Пожав руку Элен, господин Рамбо молча сел, улыбаясь и, видимо, чувствуя себя как дома; Жанна тем временем бросилась на шею аббату.

– Здравствуй, дружок! – сказала она. – Я была очень больна!

– Очень больна, детка?

Оба гостя встревожились, особенно аббат – маленький, сухощавый, большеголовый человек, с угловатыми движениями, небрежно одетый; его прищуренные глаза расширились и засияли пленительным светом нежности. Жанна, оставив одну руку в его руке, протянула другую господину Рамбо. Оба не отрывали от нее встревоженного взора. Элен пришлось рассказать о припадке. Аббат чуть не рассердился – почему его не известили. Они настойчиво расспрашивали: теперь-то по крайней мере все кончено? Ничего больше с девочкой не было? Элен улыбалась.

– Вы любите ее больше, чем я; послушаешь вас – испугаешься, – сказала она. – Нет, больше она ничего не чувствовала. Только иногда боли в руках и ногах, тяжесть в голове… Но мы энергично за все это примемся.

– Кушать подано, – объявила служанка.

Мебель в столовой – стол, буфет, восемь стульев – была из красного дерева. Розали задернула темно-красные репсовые шторы. Простая висячая лампа из белого фарфора, в медном кольце, освещала накрытый стол, симметрично расставленные тарелки и дымящийся суп. Каждый вторник обеденный разговор вращался вокруг все тех же тем. Но на этот раз, естественно, заговорили о докторе Деберле. Аббат Жув отозвался о нем с большой похвалой, хотя врач и не отличался благочестием. Он считал, что Деберль – человек с прямым характером и добрым сердцем, прекрасный отец и муж, – словом, подает наилучший пример другим. Жена его также была, по мнению аббата, милейшим существом, а несколько порывистые ее манеры – плод своеобразного парижского воспитания. В общем, это прелестная чета. Элен было отрадно слышать это; она была такого же мнения о докторе и его жене; слова аббата поощряли ее не прерывать отношений, завязавшихся у нее с четой Деберль и вначале несколько пугавших ее.

– Вы слишком уединяетесь, – заявил священник.

– Несомненно, – поддержал его господин Рамбо.

Элен смотрела на них со своей спокойной улыбкой, как бы говоря, что для нее достаточно их общества и что она опасается новых дружеских связей. Но уже пробило десять часов. Аббат с братом взялись за шляпы. Жанна уснула поодаль в кресле. Они на мгновение наклонились над ней и удовлетворенно покачали головой, видя, как безмятежно она спит. Потом на цыпочках удалились; в передней они промолвили вполголоса:

– До следующего вторника.

– Я и забыл, – пробормотал аббат, поднимаясь на две ступеньки назад по лестнице. – Тетушка Фетю заболела. Вам следовало бы навестить ее.

– Я схожу к ней завтра, – сказала Элен.

Аббат охотно посылал ее к своим бедным. У них бывали по этому поводу долгие беседы вполголоса, свои особые дела, в которых они понимали друг друга с полуслова и о которых никогда не говорили при других. На следующий день Элен вышла из дому одна: она избегала в этих случаях брать с собой Жанну, с тех пор как девочка целых два дня не могла избавиться от нервной дрожи, побывав с матерью у нищего, параличного старика. Элен прошла по улице Винез, свернула на улицу Ренуар, а затем спустилась по Водному проходу: то была странная лестница, стиснутая между каменными оградами садов, крутая улочка, спускавшаяся с высот Пасси к набережной. Внизу, в ветхом доме, жила тетушка Фетю. Она занимала освещенную круглым слуховым окном мансарду, где едва умещались убогая кровать, колченогий стол и продранный соломенный стул.

– Ах! Добрая моя барыня… – застонала она, увидев Элен.

Тетушка Фетю лежала в постели. Тучная, несмотря на нужду, словно распухшая, с одутловатым лицом, она натягивала на себя одеревенелыми руками рваное одеяло. У нее были маленькие лукавые глазки, плаксивый голос; ее притворное смирение изливалось в шумном потоке слов:

– Спасибо вам, добрая барыня… Ой-ой-ой, как больно! Будто собаки рвут мне бок… Ей-ей, у меня какой-то зверь в животе сидит! Вот здесь, видите? Кожа цела, болезнь в самом нутре… Ой-ой-ой! Два дня мучаюсь без передышки… Господи, можно ли так страдать… Спасибо, добрая барыня! Вы не забываете

бедняков. Это вам зачтется, да, да, зачтется…

Элен села. Заметив дымившийся на столе горшочек с настоем из трав, она наполнила стоявшую рядом чашку и подала ее больной. Возле горшочка лежал пакетик сахара, два апельсина, сласти.

– Вас навестили? – спросила она.

– Да, да, одна дамочка. Да разве они понимают?.. Не это бы мне нужно. Ах, будь у меня немножко мяса! Соседка сварила бы мне мясной суп… Ой-ой, еще пуще разболелось! Право, точно собака грызет… Ах, будь у меня немного бульону…

Скорчившись от боли, старуха, однако, не переставала следить лукавыми глазками за Элен, шарившей у себя в кармане. Увидев, что она положила на стол монету в десять франков, тетушка Фетю заохала еще громче, пытаясь в то же время приподняться. Не переставая корчиться, она протянула руку, – монета исчезла. Старуха продолжала причитать:

– Господи, опять схватило… Нет, мне дольше не вытерпеть!.. Господь наградит вас, добрая барыня. Я попрошу его, чтобы он наградил вас… А-а, вот теперь колет по всему телу!.. Господин аббат обещал мне, что вы придете. Вы одна понимаете, что нужно больному человеку… Я куплю мясца… Вот и бок разболелся… Помогите мне, не могу больше, не могу…

Она пыталась повернуться. Сняв перчатки, Элен обхватила ее как можно бережнее и уложила. Не успела она выпрямиться, как дверь открылась, – и Элен покраснела от неожиданности, увидя перед собой доктора Деберля. Значит, и у него были посещения, о которых он умалчивал?

– Это господин доктор, – бормотала старуха. – Какие вы все добрые, да благословит Господь вас всех.

Доктор молча поклонился Элен. С той минуты, как он вошел, тетушка Фетю перестала громко охать, а только, подобно страдающему ребенку, неумолчно издавала слабый хриплый стон. Она сразу заметила, что добрая барыня и доктор знакомы друг с другом, и уже не сводила с них глаз, перебегая взглядом от одного к другому. По бесчисленным морщинкам ее лица было видно, что мысль ее напряженно работает. Врач задал ей несколько вопросов, выстукал правый

бок. Повернувшись к Элен, снова севшей на стул, он сказал вполголоса:

– У нее воспаление печени. Через несколько дней она будет на ногах.

Он набросал несколько строчек в своем блокноте и, вырвав страничку, сказал тетушке Фетю:

– Вот пусть кто-нибудь отнесет это в аптеку на улицу Пасси. Вам дадут там лекарство. Принимайте каждые два часа по ложке.

Старуха опять начала рассыпаться в благодарностях. Элен продолжала сидеть. Врач, казалось, медлил, вглядываясь в ее глаза, когда их взоры встречались. Потом он поклонился и ушел, из скромности, первым. Не успел он спуститься до следующего этажа, как тетушка Фетю снова принялась стонать.

– Ах, что за славный врач… Только бы его лекарство помогло! Мне бы истолочь свечу с одуванчиками: это выгоняет воду из тела… Да, вы можете смело сказать, что знаете славного врача. Вы, может быть, давно уже знакомы с ним? Господи, до чего мне пить хочется! Все нутро как огнем палит… Он ведь женат? По заслугам бы ему добрую жену и деток красивых… Все-таки приятно видеть, что добрые люди друг друга знают.

Элен встала, чтобы подать ей напиться.

– Ну, до свиданья, тетушка Фетю, – сказала она. – До завтра!

– Вот, вот… Какая вы добрая… Если б мне хоть немного белья. Видите рубашку: пополам разодрана. Лежу, можно сказать, на гноище… Ничего, Господь наградит вас за все!

Придя на следующий день к тетушке Фетю, Элен уже застала там доктора Деберля. Сидя на стуле, он писал рецепт.

– Теперь, господин доктор, у меня там все будто свинцом налито, – плаксиво приговаривала старуха. – Право, у меня в боку кусок свинца весом фунтов в сто – повернуться не могу.

Увидев Элен, она затараторила вовсю:

– А! Вот и добрая барыня… Я так и говорила дорогому своему доктору: она придет, хоть небо на землю упади, – все равно придет. Настоящая святая, ангел небесный, и красавица, такая красавица, что прямо хоть на колени становись посреди улицы, когда она проходит… Добрая моя барыня, все не лучше мне! Теперь у меня здесь будто свинцом налито… Да, я ему все рассказала, что вы для меня сделали! Сам император, и тот большего бы не сделал… Ах, только злой человек может не любить вас, только самый что ни на есть злой!

Она сыпала словами, полузакрыв глаза, перекатываясь головой по подушке. Доктор улыбался смущенной Элен.

– Я принесла вам немного белья, тетушка Фетю, – проговорила она.

– Спасибо, спасибо, Господь наградит вас… Вот и милый доктор тоже – он больше делает добра бедноте, чем все те, кто это делает по должности. Вы и не знаете, что он лечит меня уж пятый месяц; тут и лекарства, и бульон, и вино. Немного на свете богатых людей, таких, как он, обходительных с каждым. Тоже ангел Божий… Ой-ой-ой! У меня будто целый дом в животе…

Теперь и доктор казался смущенным. Он встал, чтобы уступить стул Элен. Но та, хотя и пришла с намерением провести у больной четверть часа, отказалась:

– Спасибо, доктор, я спешу.

Тем временем тетушка Фетю, по-прежнему перекатываясь головой по подушке, вытянула руку, – пакет с бельем исчез где-то в постели. Потом она продолжала свою болтовню:

– Вот уж можно сказать, что вы – пара… Не в обиду вам это говорю, а потому, что правда… Кто видел одного из вас, видел и другого. Добрые люди понимают друг друга. Господи! Дайте мне руку – повернуться бы мне… Да, да, они понимают друг друга.

– До свиданья, тетушка Фетю, – сказала Элен, уходя. – Вряд ли я зайду завтра.

Однако на следующий день она вновь поднялась в мансарду. Старуха дремала. Проснувшись и узнав Элен, которая сидела вся в черном на стуле, она воскликнула:

– Он был у меня… Не знаю уж, что он мне прописал такое, только я одеревенела, как палка… Поговорили о вас. Он расспрашивал и про то, и про се, и часто ли вы грустны, и всегда ли у вас такое лицо, как давеча… Уж такой он добрый!

Выжидая, какое действие ее слова произведут на Элен, она замедлила свою речь с тем ласкательно-беспокойным выражением на лице, какое бывает у бедняков, желающих сказать что-либо приятное своему благодетелю. Казалось, она заметила на лбу «доброй барыни» морщинку неудовольствия: ее толстое, одутловатое лицо, зоркое и оживленное, вдруг потухло.

– Сплю я все, – пробормотала она, – меня, может быть, отравили… Одна женщина на улице Благовещения умерла оттого, что аптекарь дал ей одно лекарство вместо другого.

На этот раз Элен провела у тетушки Фетю около получаса, слушая ее рассказы о Нормандии, где она родилась и где пьют такое густое молоко.

– Вы давно знаете доктора? – небрежно спросила она, помолчав.

Старуха, лежавшая на спине, полуоткрыла глаза и снова закрыла их.

– Еще бы, – ответила она, понизив голос. – Его отец лечил меня еще до сорок восьмого года, а сын приходил вместе с ним.

– Мне говорили, что отец его был праведником.

– Да, да… Малость чудаком был… Сын, видите ли, еще лучше. Когда он к тебе прикасается, кажется, что у него бархатные руки.

Вновь наступило молчание.

– Я вам советую выполнять все, что он вам скажет, – промолвила Элен. – Он очень знающий человек; он спас мою дочь.

– Ну, еще бы, – воскликнула тетушка Фетю, оживляясь. – Ему-то поверить можно: он воскресил одного мальчика, которого уж на кладбище хотели тащить… Хотите или нет, а я все-таки скажу: другого такого, как он, не найти. Везет мне. Всегда попадаю на самых что ни на есть хороших людей… Каждый вечер благодарю за это Господа. Не забываю вас обоих, – уж будьте покойны! Вместе поминаю вас в молитвах… Да наградит вас Бог и да пошлет вам все, чего бы вы ни пожелали! Да осыплет он вас своими сокровищами! Да уготовит он вам место в раю!

Она приподнялась и, набожно сложив руки, казалось, возносила к небесам необычайно пылкие моления. Молодая женщина не останавливала ее, она даже улыбалась. Заискивающая болтовня старухи навевала на нее мирную дремоту. Уходя, Элен обещала подарить ей чепчик и платье в тот день, когда она встанет с постели.

Всю неделю Элен не переставала заботиться о тетушке Фетю. Послеполуденное посещение мансарды вошло у нее в привычку. Почему-то ей особенно полюбился Водный проход. Ей нравилась прохлада и тишина этого крутого спуска, всегда чистая мостовая, которую обмывал в дождливые дни низвергавшийся сверху поток. Там она испытывала странное ощущение, глядя, как ускользает вниз почти отвесный скат прохода, обычно пустынного, известного лишь нескольким обитателям соседних улиц. Потом, решившись, она вступала в него, пройдя под сводом дома, выходящего на улицу Ренуар, и не спеша спускалась по семи этажам широких ступеней, вдоль которых протекает ручей с каменистым ложем, занимающим половину узкого ската. Справа и слева выпячивались каменные ограды садов, покрытые серым лишаем, протягивались ветви деревьев, нависала густая листва, кое-где широким покрывалом раскидывался плющ; среди всей этой зелени, сквозь которую лишь там и сям проглядывала синева неба, царил зеленоватый полусвет, мягкий и нежный. Спустившись до половины улочки, Элен останавливалась, чтобы перевести дух; она вглядывалась в висевший там фонарь, вслушивалась в смех, долетавший из садов, из-за дверей, которых она никогда не видела открытыми. Порою вверх поднималась старуха, держась за укрепленные у правой стены железные перила, черные и блестящие; проходила дама, опираясь на зонтик, как на трость; ватага мальчишек мчалась вниз, стуча башмаками. Но почти всегда она оставалась одна, и какое-то властное очарование облекало в ее глазах эту уединенную, тенистую лестницу, похожую на дорогу, проложенную в густом лесу. Спустившись до конца, она оглядывалась назад, и легкий страх охватывал ее при виде этого почти отвесного ската, по которому она отважилась сойти.

Входя к тетушке Фетю, она еще сохраняла в складках одежды свежесть и тишину Водного прохода. Трущоба, где ютились нужда и страданье, уже не оскорбляла ее взор. Она держалась там как у себя дома, открывала слуховое окно, чтобы проветрить комнату, передвигала стол, когда тот мешал ей. Нагота этого чердака, стены, выбеленные известью, колченогая мебель возвращали ее мысли к той простой жизни, о которой она иногда мечтала в девичьи годы. Но больше всего ее прельщало то чувство растроганности, которое охватывало ее там: роль сиделки, непрерывные стоны старухи, все, что она видела и слышала вокруг себя, вызывало в ней трепетное чувство бесконечной жалости. К концу недели она уже с явным нетерпением ждала прихода доктора Деберля. Она расспрашивала его о состоянии здоровья тетушки Фетю, затем они несколько минут беседовали на другие темы, стоя рядом, спокойно глядя друг другу в лицо. Между ними зарождалась близость. Они с удивлением убеждались в сходстве своих вкусов. Часто они понимали друг друга без слов – сердцем, внезапно переполнявшимся одинаковым чувством сострадания. И для Элен не было ничего сладостнее этой симпатии, которая возникла вне обычных людских отношений и которой она поддавалась без сопротивления, размягченная состраданием. Сначала она боялась доктора, в гостиной у него она сохранила бы свойственную ей недоверчивую холодность. Но здесь они были вдали от света, деля друг с другом единственный стул, почти счастливые от всей этой бедности и убогости, которая, трогая их сердца, сближала их. Через неделю они знали друг друга так, будто годами жили вместе. Их доброта, сливаясь воедино, наполняла ярким светом жалкую каморку тетушки Фетю.

Старуха, однако, поправлялась чрезвычайно медленно. Слушая ее жалобы на то, что теперь у нее свинцом налиты ноги, доктор удивлялся и укорял ее за мнительность. Она все так же стонала, лежала на спине, перекатываясь головой по подушке; порой она закрывала глаза, как бы желая предоставить доктору и Элен полную свободу. Однажды она даже, казалось, заснула, но из-под опущенных век зорко следила за ними уголком своих маленьких черных глаз. Наконец ей пришлось встать с постели. На следующий день Элен принесла ей обещанное платье и чепчик. Когда явился доктор, старуха вдруг воскликнула:

– Бог ты мой! А соседка-то сказала, чтобы я присмотрела за ее супом!

Она вышла и закрыла за собой дверь, оставив доктора и Элен наедине. Сначала они продолжали начатый разговор, не замечая закрытой двери. Доктор уговаривал Элен заходить на час-другой в послеполуденное время в его сад на улице Винез.

– Моя жена на днях отдаст вам визит, – сказал он. – Она поддержит мое приглашение… Это было бы очень полезно для вашей дочери.

– Да я и не отказываюсь и вовсе не требую, чтобы меня приглашали с особой торжественностью, – возразила, смеясь, Элен. – Я только боюсь быть навязчивой… Ну, там увидим!

Они продолжали беседовать. Наконец доктор удивился:

– Куда это она запропастилась? Уж четверть часа, как она вышла присмотреть за супом.

Тут Элен заметила, что дверь закрыта. Сначала она не придала этому значения. Она говорила о госпоже Деберль, отзываясь о ней с горячей похвалой. Но доктор беспрестанно поворачивал голову в сторону двери, и Элен в конце концов почувствовала себя неловко.

– Как странно, что тетушка Фетю не возвращается, – сказала она вполголоса.

Разговор прервался. Элен, не зная, что делать, открыла слуховое окно; и, когда она снова обернулась к врачу, их взгляды уже не встретились. В окно слышался смех детей; высоко в небе обрисовывалась голубая луна. Они были совершенно одни, скрытые от всех взоров; лишь это круглое оконце видело их. Дети вдали умолкли, наступило трепетное молчание. Никому бы не пришло в голову искать их на этом заброшенном чердаке. Их смущение все усиливалось. Элен, недовольная собой, пристально посмотрела на доктора.

– У меня масса визитов, – сказала он тотчас же. – Раз она не возвращается, я уйду.

Он ушел. Элен присела на стул. В тот же миг явилась тетушка Фетю, невероятно многоречивая.

– Ох, с места не могу сдвинуться! У меня закружилась голова… Так он ушел, этот милый доктор? Да, уж удобств здесь нет! Вы оба – ангелы небесные, что соглашаетесь тратить время на такую несчастную, как я! Но Господь наградит вас за все. Сегодня боль спустилась в пятки. Мне пришлось присесть на

ступеньку. А я вас не слыхала – вы здесь сидели так тихо… Стульев бы мне. Будь у меня хоть одно кресло! Матрац мой уж больно плох. Мне стыдно, когда вы приходите… Все, что здесь есть, – ваше; я за вас готова в огонь кинуться, если нужно. Господь знает это. Я ему уж много раз говорила… Господи, сделай так, чтобы доброму доктору и доброй барыне выпало исполнение всех их желаний! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Слушая ее, Элен ощущала странную неловкость. Вспухшее лицо тетушки Фетю вызывало в ней смутное беспокойство. Ни разу еще она не испытывала в этой тесной каморке такого тягостного чувства. Она видела теперь ее отталкивающую бедность, страдала от недостатка воздуха, от всего того унизительного, что связано с нищетой. Она поспешила уйти. Благословения, которые тетушка Фетю расточала ей вослед, возбуждали в ней неприятное ощущение.

Другое грустное впечатление ожидало ее в Водном проходе. Посредине него, справа, виднелось у стены углубление – заброшенный колодец, прикрытый решеткой. Последние два дня, проходя, она слышала в глубине его мяуканье кошки. Теперь, когда она поднималась вверх, вновь послышалось мяуканье, но уже столь отчаянное, что в нем звучала агония. Мысль, что бедное животное, брошенное в колодец, мучительно умирает там от голода, вдруг потрясла сердце Элен. Она ускорила шаг, чувствуя, что долго не отважится теперь спускаться по лестнице прохода из боязни услышать это предсмертное мяуканье.

Был как раз вторник. Вечером, в семь часов, когда Элен дошивала детскую распашонку, прозвучали обычные два звонка, и Розали открыла дверь со словами:

– Сегодня первым пришел господин аббат… А вот и господин Рамбо!

Обед прошел очень весело, Жанна чувствовала себя значительно лучше, и братья, баловавшие ее, уговорили Элен, вопреки запрещению доктора Бодена, дать девочке немного салата: она обожала его. Потом, когда прошли в другую комнату, Жанна, набравшись храбрости, повисла на шее у матери, шепча:

– Прошу тебя, мамочка, возьми меня завтра с собой к старухе!

Но аббат и господин Рамбо первые стали ее укорять. Ей нельзя ходить к беднякам, потому что она не умеет себя вести у них. Последний раз она дважды упала в обморок, и в течение трех дней, даже во сне, из распухших глаз ее текли слезы.

– Нет, нет, – уверяла она, – я не буду плакать, обещаю тебе!

Мать поцеловала ее.

– Идти незачем, милочка, – сказала она. – Старуха поправилась. Я никуда уже не буду ходить, буду целыми днями с тобой.

IV

На следующей неделе, отдавая Элен визит, госпожа Деберль была чарующе любезна. И на пороге, уходя, сказала:

– Вы обещали мне – помните… В первый же ясный день вы спуститесь в сад и приведете с собой Жанну. Это – предписание врача.

Элен улыбнулась.

– Да, да, решено! Рассчитывайте на нас.

Через три дня, в погожий февральский день, она действительно спустилась вниз с дочерью. Привратница отперла им дверь, соединявшую оба домовладения. Они застали госпожу Деберль с ее сестрой Полиной в глубине сада, в теплице, превращенной в японскую беседку. Обе сидели праздно сложа руки, перед каждой лежало на столике вышивание, отложенное и забытое.

– А, как это мило с вашей стороны! – воскликнула Жюльетта. – Садитесь сюда… Полина, отодвинь стол… Видите ли, сейчас сидеть на открытом воздухе еще свежо, а из этой беседки очень удобно наблюдать за детьми… Ступайте играйте, дети. Только не падайте.

Широкая застекленная дверь беседки была настежь открыта, зеркальные створки с обеих сторон вдвинуты в рамы. Сад начинался тут же за порогом, словно у входа в шатер. Это был типичный буржуазный сад, с лужайкой посредине и двумя клумбами по сторонам. От улицы Винез его отделяла простая решетка, но зелень там разрослась так буйно, что посторонний взор не мог проникнуть в сад. Плющ, клематисы, жимолость проникали к решетке и обвивались вокруг нее; за этой первой стеной зелени поднималась вторая – из сирени и альпийского ракитника. Даже зимой густого переплета веток и необлетающих листьев плюща было достаточно, чтобы преградить доступ любопытству прохожих. Но главным очарованием сада было несколько раскидистых высокоствольных вязов, росших в глубине и закрывавших черную стену пятиэтажного дома. На клочке земли, сдавленном соседними строениями, они создавали иллюзию уголка парка и безмерно расширяли для глаза крохотный парижский садик, который подметали, словно гостиную. Между двух вязов висели качели с позеленевшей от сырости доской.

Элен рассматривала сад, наклоняясь, чтобы разглядеть ту или другую подробность.

– О, здесь такая теснота, – небрежно сказала госпожа Деберль. – Но ведь деревья так редки в Париже… Радуешься, если их растет у тебя хоть полдюжины.

– Нет, нет, у вас очень хорошо, – возразила Элен. – Сад очарователен!

Солнце опыляло бледное небо золотистым светом. Лучи медленно струились между безлистными ветками. Деревья алели, нежные лиловые почки смягчали серый тон коры. На лужайке, вдоль аллей, травинки и камешки мерцали бликами света, чуть затуманенными легкой дымкой, скользившей над самой землей. Еще не видно было ни цветка, – лишь солнце, ласково озарявшее голую землю, возвещало весну.

– Здесь еще немного уныло теперь, – продолжала госпожа Деберль. – А вот увидите в июне, – это настоящее гнездышко. Деревья мешают соседям подсматривать, и мы тогда совершенно у себя…

Но тут, прервав фразу на полуслове, она крикнула:

– Не трогай крана, Люсьен!

Мальчик, показывавший Жанне сад, только что подвел ее к фонтану у крыльца. Отвернув кран, он подставлял под струю воды кончики своих башмаков – его любимое развлечение. Жанна с серьезным видом смотрела, как он льет воду себе на ноги.

– Постой, – сказала, вставая, Полина. – Я пойду усмирю его.

Жюльетта удержала ее.

– Нет, нет, ты еще взбалмошнее его! Помнишь, на днях можно было подумать, что вы оба выкупались… Удивительно: взрослая девушка, а не может двух минут усидеть на месте.

И, обернувшись, она добавила:

– Слышишь, Люсьен! Сейчас же заверни кран!

Испуганный мальчик хотел было повиноваться. Но он повернул кран не в ту сторону, – вода полилась с такой силой и шумом, что он окончательно растерялся. Он отступил, обрызганный с головы до ног.

– Сейчас же заверни кран! – повторила мать, краснея от гнева.

Но мощная струя разбушевавшейся воды пугала Люсьена, и, не зная, как остановить ее, он заплакал навзрыд. Тогда Жанна, до тех пор молчавшая, со всяческими предосторожностями приблизилась к крану. Она забрала юбку между колен, вытянула руки так, чтобы не замочить рукава, и завернула кран; ни одна капля воды не попала на нее. Поток внезапно прекратился. Люсьен, удивленный, проникнувшись уважением к Жанне, перестал плакать и вскинул на девочку большие глаза.

– Этот ребенок выводит меня из себя! – воскликнула госпожа Деберль.

Обычная бледность вернулась на ее лицо; она устало откинулась на спинку стула. Элен решила вмешаться.

– Жанна, – сказала она, – возьми его за руку, поиграйте в прогулку.

Жанна взяла Люсьена за руку, и оба мелкими шажками степенно пошли по аллее. Она была гораздо выше его, ему приходилось высоко подымать руку. Эта церемонная игра, состоявшая в том, что они торжественно обходили лужайку, казалось, целиком занимала их внимание и превращала обоих в важных персон. Жанна, совсем как настоящая дама, мечтательно глядела вдаль. Люсьен время от времени не мог удержаться от того, чтобы не взглянуть украдкой на свою спутницу. Оба молчали.

– Какие они забавные, – сказала госпожа Деберль, улыбающаяся и успокоенная. – Надо сказать, ваша Жанна – прелестный ребенок. Она так послушна, так благоразумна…

– Да, в гостях, – ответила Элен. – А дома у нее бывают иногда страшные вспышки. Но она обожает меня и старается вести себя хорошо, чтобы не огорчить меня.

Дамы заговорили о детях. Девочки развиваются быстрее мальчиков. Хотя не скажите: Люсьен кажется простачком, а не пройдет и года, как он поумнеет и станет сорванец хоть куда. Тут разговор почему-то перескочил на женщину, проживавшую в домике напротив. У нее происходят такие вещи… Госпожа Деберль остановилась.

– Полина, выйди на минуту в сад, – заявила она сестре.

Молодая девушка спокойно вышла из беседки и отошла к деревьям. Она уже привыкла к тому, что ее удаляли из комнаты всякий раз, как разговор касался вещей, о которых не полагалось говорить в ее присутствии.

– Я смотрела вчера в окно, – продолжала Жюльетта, – и прекрасно видела эту женщину… Она даже не задергивает штор… Это верх неприличия! Ведь дети могут увидеть.

Она говорила шепотом, с возмущенным видом, но в уголках ее рта играла улыбка.

– Можешь вернуться, Полина! – крикнула она сестре, которая с безучастным видом, глядя рассеянно в небо, ждала под деревьями.

Полина вернулась в беседку и заняла прежнее место.

– А вы ни разу ничего не видели? – спросила Жюльетта, обращаясь к Элен.

– Нет, – ответила та. – Мои окна не выходят на этот домик.

Хотя для молодой девушки в разговоре оставался пробел, она с обычным своим невинным выражением лица слушала, словно все поняла.

– Сколько гнезд в ветвях, – сказала она, все еще глядя вверх сквозь открытую дверь.

Госпожа Деберль снова принялась для вида за свое рукоделие, делая два-три стежка в минуту. Элен, не умевшая оставаться праздной, попросила у нее позволения принести с собой в следующий раз работу. Ей стало скучно; повернувшись, она принялась рассматривать японскую беседку. Потолок и стены были обтянуты тканями, расшитыми золотом: на них изображены были взлетающие стаи журавлей, яркие бабочки и цветы, пейзажи, где синие ладьи плыли вдоль желтых рек. Всюду стояли стулья и скамеечки из каменного дерева, на полу были разостланы тонкие циновки. А на лакированных этажерках нагромождено множество безделушек – бронзовые статуэтки, китайские вазочки, диковинные игрушки, раскрашенные пестро и ярко. Посредине – большой китайский болванчик саксонского фарфора, с огромным отвислым животом и поджатыми ногами, при малейшем толчке разражался безудержным весельем, исступленно качая головой.

– До чего все это безобразно! – воскликнула Полина, следившая за взглядом Элен. – А знаешь ли, сестрица, ведь все, что ты накупила, – сплошной хлам! Красавец Малиньон называет твои японские вещички «дешевкой по тридцать су штука». Да, кстати, я его встретила, красавца Малиньона! Он был с дамой, да еще какой! С Флоранс из Варьете!

– Где это было? Я хочу его подразнить! – с живостью сказала Жюльетта.

– На бульваре. А разве он сегодня не придет?

Ответа не последовало. Дамы обнаружили, что дети исчезли, и встревожились. Куда они могли запропаститься? Принялись их звать. Два тоненьких голоска откликнулись:

– Мы здесь!

И действительно, они сидели посредине лужайки, в траве, полускрытые высоким бересклетом.

– Что вы тут делаете?

– Мы приехали в гостиницу, – объявил Люсьен. – Мы отдыхаем у себя в комнате.

Минуту-другую дамы забавлялись этим зрелищем. Жанна снисходительно делала вид, что игра ее занимает. Она рвала траву вокруг себя, очевидно, чтобы приготовить завтрак. Обломок доски, найденный ими в кустах, изображал чемодан юных путешественников. Они оживленно беседовали. Постепенно Жанна и сама увлеклась: она уверяла, что они в Швейцарии и отправятся на глетчер, приводя этим Люсьена в изумление.

– А вот и он! – воскликнула Полина.

Госпожа Деберль обернулась и увидела Малиньона, спускавшегося с крыльца. Она едва дала ему раскланяться и сесть.

– Хороши вы, нечего сказать! Всюду и везде рассказываете, что у меня – сплошной хлам!

– А, вы говорите об этой маленькой гостиной, – ответил он спокойно. – Конечно, хлам. Нет ни одной вещи, на которую стоило бы посмотреть.

Госпожа Деберль была очень задета.

– Как, а болванчик?

– Нет, нет, все это буржуазно… Тут нужен вкус. Вы не захотели поручить мне обставить комнату…

Она прервала его, вся красная, разгневанная:

– Ваш вкус! Хорош он, ваш вкус… Вас видели с такой дамой…

– С какой дамой? – спросил он, удивленный резкостью нападения.

– Прекрасный выбор! Поздравляю вас! Девка, которую весь Париж…

Госпожа Деберль замолчала, взглянув на Полину. Она забыла про нее.

– Полина, – сказала она, – выйди на минуту в сад.

– Ну уж нет! Это в конце концов невыносимо, – с возмущением заявила девушка, – никогда меня не могут оставить в покое!

– Ступай в сад, – повторила Жюльетта уже более строгим тоном.

Девушка неохотно повиновалась.

– Поторопитесь по крайней мере, – добавила она, обернувшись.

Как только Полина вышла, госпожа Деберль снова напала на Малиньона. Как мог такой благовоспитанный молодой человек, как он, показаться на улице вместе с Флоранс? Ей по меньшей мере сорок лет, она безобразна до ужаса, все оркестранты в театре обращаются к ней на «ты».

– Вы кончили? – окликнула их Полина, гулявшая с недовольным видом под деревьями. – Мне-то ведь скучно!

Малиньон защищался. Он не знает этой Флоранс. Никогда и слова не сказал с ней. С дамой, правда, могли его видеть. Он иногда сопровождает жену одного из своих друзей. Да и кто видел его к тому же? Нужны доказательства, свидетели.

– Полина, – спросила вдруг госпожа Деберль, повысив голос, – ведь ты видела его с Флоранс?

– Да, да, – ответила девушка. – На бульваре, против Виньона.

Тогда госпожа Деберль, торжествуя при виде смущенной улыбки Малиньона, крикнула:

– Можешь вернуться, Полина, мы кончили!

У Малиньона была взята на следующий день ложа в Фоли Драматик. Он галантно предложил ее, казалось, нимало не обидевшись на госпожу Деберль. Впрочем, они то и дело ссорились. Полина полюбопытствовала, можно ли ей пойти на этот спектакль, и когда Малиньон, смеясь, отрицательно покачал головой, она сказала, что это очень глупо, что авторам следовало бы писать пьесы для молодых девушек. Ей были разрешены только «Белая дама» и классический репертуар.

Дамы больше не следили за детьми. Вдруг Люсьен поднял отчаянный крик.

– Что ты с ним сделала, Жанна? – воскликнула Элен.

– Ничего, мама, – ответила девочка, – он сам бросился на землю.

Дело было в том, что дети двинулись в путь к пресловутым глетчерам. Жанна утверждала, что они взбираются на гору, поэтому оба высоко подымали ноги, чтобы шагать через скалы. Но Люсьен, запыхавшись от напряжения, оступился и растянулся по самой середине грядки с цветами. Уязвленный, охваченный ребяческой яростью, он заплакал навзрыд.

– Подними его! – крикнула Элен.

– Он не хочет, мама. Он катается по земле!

Жанна отступила на несколько шагов. Казалось, ее задела и рассердила невоспитанность мальчика. Он не умеет играть, он, наверно, запачкает ей платье. Ее лицо приняло выражение оскорбленного достоинства. Тогда госпожа

Деберль, раздраженная криками Люсьена, попросила сестру поднять его и заставить замолчать. Полина охотно согласилась. Она подбежала к мальчугану, бросилась рядом с ним на землю, минуту каталась вместе с ним. Но он отбивался, не давая схватить себя. Она все же встала на ноги, держа его под мышки.

– Молчи, рёва! Будем качаться, – сказала она, желая его успокоить.

Люсьен тотчас умолк. Серьезность сбежала с лица Жанны, – оно озарилось пламенной радостью. Все трое побежали к качелям. На доску уселась, однако, сама Полина.

– Раскачайте меня, – сказала она детям.

Они качнули ее изо всей силы своих ручонок. Но она была тяжела – они едва сдвинули ее с места.

– Раскачивайте сильнее! – повторила она. – У, глупыши, они не умеют.

Госпожа Деберль озябла в беседке. Несмотря на яркое солнце, погода казалась ей холодноватой. Она попросила Малиньона передать ей белый кашемировый бурнус, висевший на задвижке окна. Малиньон встал и набросил ей бурнус на плечи. Они непринужденно беседовали о вещах, весьма мало интересовавших Элен. Боясь к тому же, как бы Полина нечаянно не опрокинула детей, она вышла в сад, а Жюльетта и молодой человек продолжали горячо обсуждать какой-то модный фасон шляпы.

Как только Жанна увидела мать, она подошла к ней с ласково-просительным видом, она вся была мольба.

– Ах, мама, – пролепетала она, – ах, мама…

– Нет, нет! – ответила Элен, прекрасно понявшая ее. – Ты знаешь, что это тебе запрещено.

Жанна страстно любила качаться на качелях. Ей казалось, по ее словам, что она превращается в птицу: ветер, бьющий в лицо, резкий взлет, непрерывное,

ритмичное, как взмах крыла, движение давали чарующую иллюзию полета ввысь, под облака. Но это всегда кончалось плохо. Один раз ее нашли без чувств; она судорожно сжимала руками веревки качелей, широко раскрытые глаза смятенно глядели в пустоту. В другой раз она упала с качелей, вытянувшись в судороге, словно ласточка, пораженная дробинкой.

– Ах, мама, – продолжала девочка, – хоть немножко, совсем немножко!

Наконец Элен, чтобы отделаться от Жанны, посадила ее на качели. Девочка сияла. На лице ее появилось благоговейное выражение, руки слегка дрожали от радости. Элен качала ее очень тихо.

– Сильней, сильней, – прошептала она.

Но Элен уже не слушала ее. Она не отрывалась от веревки, сама проникаясь оживлением; щеки ее порозовели, она вся трепетала от движений, которыми раскачивала доску. Ее обычная серьезность растворилась в каком-то товарищеском чувстве, объединявшем ее с дочерью.

– Довольно! – объявила она, снимая Жанну с качелей.

– А теперь покачайся ты, пожалуйста, покачайся, – пролепетала Жанна, повиснув у нее на шее.

Она страстно любила смотреть, как мать ее «улетает», – так называла это девочка. Жанне даже больше нравилось смотреть, как качается мать, нежели качаться самой. Но Элен, смеясь, спросила у дочери, кто же ее раскачает: ведь когда она садилась на качели, то уж качалась не на шутку, а взлетала выше деревьев. Как раз в этот момент показался господин Рамбо в сопровождении привратницы. Он познакомился с госпожой Деберль у Элен и, не застав последнюю дома, счел себя вправе прийти в сад. Госпожа Деберль, тронутая добродушием почтенного друга Элен, встретила его чрезвычайно любезно. Затем она снова углубилась в оживленную беседу с Малиньоном.

– Наш друг раскачает тебя! Наш друг раскачает тебя! – восклицала Жанна, прыгая вокруг матери.

– Да замолчи же! Мы не дома, – сказала Элен с напускной строгостью.

– Боже мой, – проговорил господин Рамбо, – если это вас позабавит, я к вашим услугам. Уж раз мы в саду…

Элен начинала сдаваться. В девичьи годы она качалась часами, и воспоминание об этих далеких радостях наполняло ее смутным томлением. Полина, сидевшая с Люсьеном на краю лужайки, вмешалась в разговор с непринужденной манерой взрослой, независимой девушки:

– Ну да, господин Рамбо раскачает вас… А потом он раскачает меня. Ведь вы раскачаете меня, сударь, не правда ли?

Это победило последние колебания Элен. Молодость, таившаяся под внешним бесстрастием ее редкой красоты, раскрылась с пленительной непосредственностью. В ней проглянула простота и веселость школьницы. В ней не было ни малейшего следа чопорности. Смеясь, она сказала, что не хочет выставлять напоказ свои ноги, и, попросив бечевку, перевязала юбки повыше лодыжек. Потом, стоя на доске качелей, держась раскинутыми руками за веревки, она весело крикнула:

– Качайте, господин Рамбо… Сначала потише!

Господин Рамбо повесил шляпу на ветку. Его широкое доброе лицо осветилось отеческой улыбкой. Он проверил, прочны ли веревки, поглядел на деревья, наконец, решившись, слегка подтолкнул доску. В этот день Элен впервые сняла траур. На ней было серое платье с бледно-лиловыми бантами. И, выпрямившись во весь рост, она медленно качнулась, скользя над землей, словно в колыбели.

– Качайте! Качайте! – воскликнула она.

Тогда господин Рамбо, вытянув руки, поймал доску на лету и толкнул ее вперед сильнее. Элен поднималась; каждый взлет уносил ее все выше. Но ритм качания оставался медленным. Элен стояла, еще храня светскую сдержанность, чуть серьезная; ее глаза на немом прекрасном лице были прозрачно ясны, только ноздри раздувались, впивая ветер. Ни одна складка ее платья не шевелилась. Из прически выбилась густая прядь волос.

– Качайте! Качайте!

Стремительный толчок взметнул ее кверху. Она поднималась к солнцу, все выше. По саду от нее разлетался ветер; она проносилась так быстро, что глаз уже не мог отчетливо рассмотреть ее. Теперь она, казалось, улыбалась; ее лицо порозовело, глаза светили на лету, как звезды. Прядь волос билась об ее шею.

Несмотря на стягивавшую их бечевку, юбки ее развевались, открывая лодыжки. Чувствовалось, что она наслаждается свободой, дыша полной грудью, паря в воздухе как в родной стихии.

– Качайте! Качайте!

Господин Рамбо, весь в поту, раскрасневшийся, напрягал все силы. Жанна громко вскрикнула. Элен подымалась все выше.

– О мама! О мама! – повторяла Жанна, замирая от восторга.

Она сидела на лужайке, глядя на мать, прижав руки к груди, словно сама впивая налетавший на нее ветер. Тяжело переводя дух, она бессознательно покачивалась в такт мощным размахам качелей.

– Сильней! Сильней! – кричала она.

Мать поднималась все выше. Ноги ее касались ветвей деревьев.

– Сильней! Сильней, мама! Сильней!

Но Элен уже вырвалась в небо. Деревья гнулись и трещали, как под напором ветра. Виден был лишь вихрь ее юбок, развевавшихся с шумом бури. Она летела вверх, раскинув руки, наклонясь грудью вперед, слегка опустив голову, парила секунду в высоте, потом, увлекаемая обратным размахом, стремительно падала вниз, запрокинув голову, закрыв в упоении глаза. Она наслаждалась этими взлетами и падениями, от которых у нее кружилась голова. Наверху она врывалась в солнце, в ясное февральское солнце, лучившееся золотой пылью. Ее каштановые волосы, отливавшие янтарем, ярко вспыхивали в его лучах; казалось, вся она объята пламенем: лиловые шелковые банты, подобно

огненным цветам, сверкали на ее светлом платье. Кругом нее рождалась весна, лиловатые почки цвета камеди нежно выделялись на синеве небес.

Жанна молитвенно сложила руки. Мать представлялась ей святой, с золотым нимбом вокруг головы, улетающей в рай. И разбитым голосом она все лепетала:

– О мама, о мама…

Госпожа Деберль и Малиньон, заинтересовавшись, также подошли к качелям. Малиньон нашел, что эта дама очень храбра.

– У меня сердце не выдержало бы, я уверена, – сказала боязливо госпожа Деберль.

Элен услышала ее.

– О, у меня сердце крепкое!.. Качайте, качайте же, господин Рамбо! – крикнула она из-за ветвей.

И действительно, ее голос оставался спокойным. Она, казалось, не думала о двух мужчинах, стоявших внизу. Они были ей безразличны. Волосы у нее растрепались, бечевка, видимо, ослабела – юбки Элен с шумом бились по ветру, точно флаг. Она поднималась все выше.

Вдруг она крикнула:

– Довольно, господин Рамбо, довольно!

На крыльце только что появился доктор Деберль. Он приблизился, нежно поцеловал жену, приподнял Люсьена и поцеловал его в лоб. Потом, улыбаясь, взглянул на Элен.

– Довольно, довольно! – повторяла та.

– Почему же? – спросил доктор. – Я вам мешаю?

Элен не отвечала. Ее лицо вновь стало серьезным. Качели были пущены вовсю, их движение не останавливалось: широкие мерные размахи все еще уносили Элен на большую высоту, и доктор, изумленный и очарованный, залюбовался ею – так прекрасна, высока и могуча была эта, подобная античной статуе, женщина, плавно качавшаяся в блеске весеннего солнца. Но Элен казалась раздраженной – и вдруг, резким движением, спрыгнула на землю.

– Подождите! Подождите! – кричали все.

Раздался глухой стон: Элен упала на гравий и была не в состоянии подняться.

– Боже, какое безрассудство! – сказал Деберль, побледнев.

Все захлопотали вокруг Элен. Жанна рыдала так отчаянно, что господин Рамбо – он сам чуть не плакал от волнения – вынужден был взять ее на руки. Тем временем врач поспешно и тревожно расспрашивал Элен:

– Вы ударились правой ногой, не правда ли?.. Не можете встать?

Элен, оглушенная падением, молчала. Он спросил:

– Больно вам?

– Вот тут, в колене, глухая боль, – проговорила Элен.

Тогда он послал жену за своей аптечкой и бинтами.

– Посмотрим, посмотрим! – повторил он. – Вероятно, пустяки.

Он стал на колени посреди аллеи. Элен молчала. Но когда он протянул руку, чтобы осмотреть ушибленное место, она с трудом приподнялась и плотно прижала юбку к ногам.

– Нет, нет, – тихо вымолвила она.

– Нужно же поглядеть, в чем дело, – настаивал врач.

Ее охватила легкая дрожь; еще более понизив голос, она прибавила:

– Я не хочу… пройдет и так.

Он посмотрел на нее с удивлением. Ее шея порозовела.

Глаза их встретились и, казалось, мгновенно прочли то, что таилось в глубине их душ. Тогда, сам смутившись, доктор медленно поднялся и остался возле Элен, уже не прося у нее разрешения осмотреть ушибленную ногу.

Элен подозвала знаком господина Рамбо.

– Сходите за доктором Боденом, расскажите ему, что со мной случилось, – сказала она ему на ухо.

Десятью минутами позже, когда пришел доктор Боден, Элен, сделав невероятное усилие, поднялась на ноги и, опираясь на него и на господина Рамбо, вернулась к себе домой. Жанна, содрогаясь от рыданий, шла за ней следом.

– Я буду вас ждать, – сказал доктор Деберль своему коллеге. – Вернитесь успокоить нас.

В саду завязался оживленный разговор.

– Что за странные причуды у женщин! – восклицал Малиньон. – И с чего бы эта дама вздумала прыгать?

Полина, раздосадованная тем, что это происшествие лишило ее обещанного удовольствия, сказала, что очень неосторожно качаться так сильно. Доктор Деберль молчал, он казался озабоченным.

– Ничего серьезного, – объявил, вернувшись, доктор Боден. – Простой вывих… Но ей придется провести по меньшей мере две недели на кушетке.

Тогда господин Деберль дружески похлопал по плечу Малиньона. Решительно было слишком свежо, – его жене следовало вернуться домой. И, взяв Люсьена на

руки, он сам унес его, осыпая поцелуями.

V

Оба окна комнаты были раскрыты настежь. В глубине пропасти, разверзавшейся у подножия дома, – он стоял на самом краю обрыва, – расстилалась необозримая равнина Парижа. Пробило десять часов. Ясное февральское утро дышало нежностью и благоуханием весны.

Вытянувшись на кушетке, – колено у нее все еще было забинтовано, – Элен читала у окна книгу. Хотя она уже не ощущала боли, но все еще была прикована к своему ложу. Не будучи в состоянии работать даже над своим обычным шитьем, не зная, за что приняться, она как-то раскрыла лежавшую на столике книгу, хотя обычно ничего не читала. Это была та самая книга, которою она заслоняла по вечерам свет ночника, – единственная извлеченная ею за полтора года из маленького книжного шкафа, где стояли строго нравственные книги, подобранные для нее господином Рамбо. Обычно Элен находила романы лживыми и пустыми. Этот роман, «Айвенго» Вальтера Скотта, сначала показался ей очень скучным. Потом ею овладело странное любопытство. Она уже прочла его почти до конца. Порою, растроганная, Элен усталым движением надолго роняла книгу на колени, устремив взор к далекому горизонту.

В то утро Париж пробуждался улыбчиво-лениво. Туман, стелившийся вдоль Сены, разлился по обоим ее берегам. То была легкая беловатая дымка, освещенная лучами постепенно выраставшего солнца. Города не было видно под этим зыбким тусклым покрывалом, легким, как муслин. Во впадинах облако, сгущаясь и темнея, отливало синевой, а на широких пространствах редело, утончалось, превращаясь в мельчайшую золотистую пыль, в которой проступали углубления улиц; выше туман прорезали серые очертания куполов и шпилей, еще окутанные разорванными клочьями пара. Временами от сплошной массы тумана тяжелым взмахом крыла огромной птицы отделялись полосы желтого дыма, таявшие затем в воздухе, – казалось, он втягивал их в себя.

И над этой безбрежностью, над этим облаком, спустившимся на Париж и уснувшим над ним, высоким сводом раскинулось прозрачно-чистое, бледно-голубое, почти белое небо. Солнце подымалось в тусклой пыли лучей. Свет, отливавший золотом, смутным, неярким золотом детства, рассыпался мельчайшими брызгами, наполняя пространство теплым трепетом. То был

праздник, величавый мир и нежная веселость бесконечного простора, а город, под дождем сыпавшихся на него золотых стрел, погруженный в ленивую дрему, все еще медлил выглянуть из-под своего кружевного покрова.

Всю последнюю неделю Элен наслаждалась созерцанием расстилавшегося перед ней Парижа. Она не могла наглядеться на него. Он был бездонно глубок и изменчив, как океан, детски ясен в часы утра и охвачен пожаром в час заката, проникаясь и радостью и печалью отраженного в нем неба. Солнце прорезало его широкими золотистыми бороздами, туча омрачала его и вздымала в нем бурю. Он был вечно нов: то недвижное оранжевое затишье, то вихрь, мгновенно затягивавший свинцом все небо; ясные, светлые часы, когда на гребне каждой крыши играет легкий отблеск, – и ливни, затопляющие небо и землю, стирающие горизонт в исступлении бушующего хаоса. Здесь, у окна, Элен переживала всю грусть, все надежды, рождающиеся в открытом море. Ей даже чудилось, что она ощущает на своем лице его мощное дыхание, его терпкий запах, и неумолчный рокот города порождал в ней иллюзию прилива, бьющего о скалы крутого берега.

Книга выскользнула у нее из рук. Элен грезила, устремив глаза вдаль. Она часто откладывала книгу в сторону: ее побуждало к этому желание прервать чтение, не сразу понять, а повременить. Ей нравилось удовлетворять свое любопытство понемногу. Книга вызывала у Элен волнение, душившее ее. В то утро Париж исполнен был радости и смутного томления, какие она ощущала и в себе. В этом была великая прелесть: не знать, полуотгадывать, медленно приобщаться, смутно чувствовать, что возвращаешься к дням своей юности.

Как лгут эти романы! Она была права, что никогда не читала их. Это небылицы, годные лишь для пустых голов, для людей, лишенных трезвого чувства действительности. И все же она была очарована. Ее мысли неотступно возвращались к рыцарю Айвенго, так страстно любимому двумя женщинами – прекрасной еврейкой Ревеккой и благородной леди Ровеной. Ей казалось, что она любила бы с гордостью и терпеливо-ясным спокойствием Ровены. Любить, любить! И это слово, которое она не произносила вслух, но которое, помимо ее воли, звучало в ней, удивляло ее и вызывало на устах ее улыбку. Вдали, подобно стае лебедей, неслись над Парижем бледно-дымные клочья, гонимые легким ветерком, медленно проплывали густые массы тумана. На миг, словно призрачный город, увиденный во сне, проступил левый берег Сены, зыбкий и неясный, но обрушилась громада тумана, и волшебный город исчез, смытый половодьем. Теперь пары, равномерно разлитые над всем городом, закруглялись

в красивое озеро с белыми гладкими водами. Только над руслом Сены они несколько сгустились, обозначая его серым изгибом. По этим белым водам, таким спокойным, медленно плыли на кораблях с розовыми парусами какие-то тени. Молодая женщина следила за ними задумчивым взором. Любить, любить! И она улыбалась реявшей перед нею мечте.

Элен вновь взялась за книгу. Она дошла до нападения на замок, когда Ревекка ухаживает за раненым Айвенго и рассказывает ему о ходе боя, за которым следит через окно. Элен чувствовала себя в мире прекрасного вымысла, она прогуливалась в нем, как в сказочном саду с золотыми плодами, вкушая сладость всех иллюзий жизни. Потом, в конце сцены, когда закутанная в покрывало Ревекка изливает свою нежность, склонившись над уснувшим рыцарем, Элен снова уронила книгу: ее сердце переполнилось – она была не в силах продолжать чтение.

Боже мой! Неужели все это было правдой? Элен откинулась на кушетке, члены ее оцепенели от вынужденной долгой неподвижности; она созерцала Париж, туманный и таинственный под золотистым солнцем. Страницы романа воскресили перед ней ее собственную жизнь. Она увидела себя молодой девушкой, в Марселе, у своего отца, шляпника Муре. Улица Птит-Мари была мрачна. В их доме, где всегда кипел котел воды, нужной для изготовления шляп, даже в хорошую погоду веяло прелым запахом сырости. Она увидела и свою мать, всегда больную, молча целовавшую ее бледными губами. Ни разу луч солнца не блеснул в детской Элен. Вокруг нее много работали, тяжелым трудом завоевывая себе скромный достаток. И это было все: вплоть до ее свадьбы ничто не выделялось из этой череды однообразных дней. Однажды утром, возвращаясь с матерью с рынка, она толкнула корзиной, полной овощей, молодого Гранжана. Шарль обернулся и пошел за ними. В этом и заключался весь их роман. В течение трех месяцев она встречала его повсюду – смиренного, неловкого. Он не решался заговорить с ней. Элен было шестнадцать лет, она немножко гордилась этим поклонником, зная, что он из богатой семьи. Но она находила его некрасивым, часто подсмеивалась над ним, и ночи ее, в стенах большого сырого дома, оставались безмятежными. Потом их поженили. Она до сих пор удивлялась этому браку. Шарль обожал ее; вечером, когда она ложилась спать, он, стоя на коленях, целовал ее обнаженные ноги. Она улыбалась, дружески журя его за это ребячество. Снова потянулась серая жизнь. За двенадцать лет она не могла вспомнить ни одного потрясения. Она была очень спокойна и очень счастлива, не ведая волнений ни плоти, ни сердца, поглощенная повседневными заботами скромного хозяйства. Шарль все так же целовал ее ноги, белые, как мрамор, она же была снисходительна и матерински

ласкова к нему. И только. Вдруг она увидела перед собой комнату в гостинице Дювар, мертвого мужа, траурное вдовье платье, перекинутое через стул. Она плакала, как в тот зимний вечер, когда умерла ее мать. Снова потекли дни. Вот уже два месяца, как она жила одна с дочерью и опять чувствовала себя счастливой и спокойной. Боже мой! И это было все? Но тогда – что же говорила эта книга, повествуя о великой любви, которая озаряет целую жизнь?

У горизонта, вдоль спящего озера, здесь и там пробегала зыбь. Потом озеро вдруг как бы разверзлось; открылись трещины, от края до края начинался разлом, предвещавший окончательное распадение. Солнце, подымавшееся все выше в ликующем сиянии своих лучей, вступало в победную борьбу с туманом. Огромное озеро, казалось, мало-помалу иссякало, воды его были незримо спущены. Пары, еще недавно такие густые, утончались, становились прозрачнее, окрашиваясь яркими цветами радуги. Весь левый берег был нежно-голубой; медленно темнея, его голубизна над Ботаническим садом принимала фиолетовый оттенок. Квартал Тюильри отливал бледно-розовым, словно ткань телесного цвета; ближе к Монмартру, казалось, сверкали угли – кармин пылал в золоте, – а там, вдали, рабочие кварталы темнели кирпично-красными тонами, постепенно тускневшими, переходившими в синевато-серые оттенки шифера. Еще нельзя было разглядеть трепетно ускользавший от глаз город, подобный глубинному морскому дну, которое угадывается взором сквозь прозрачность воды, с его наводящими страх зарослями высоких трав, неведомыми ужасами и смутно виднеющимися чудовищами. А воды все спадали. Они уже превратились в прозрачные раскинутые покровы, редевшие один за другим; образ Парижа рисовался все отчетливее, выступая из царства грез.

Любить, любить! Почему это слово столь сладостно вновь и вновь звучало в Элен, пока она следила за таяньем тумана? Разве она не любила своего мужа, за которым ухаживала, как за ребенком? Но щемящее воспоминание пробудилось в ней – воспоминание об ее отце, который через три недели после смерти жены повесился в чулане, где еще хранились ее платья. Он умирал там, судорожно вытянувшись, зарывшись лицом в юбку покойницы, окутанный одеждами, от которых еще слегка веяло той, кого он все так же страстно любил. Вдруг воображение Элен перескочило к другому: к мелочам ее домашнего обихода, подсчету месячных расходов, только что произведенному утром с Розали. Элен ощущала гордость при мысли о заведенном ею строгом порядке. Более тридцати лет жизнь ее была проникнута непоколебимым достоинством и твердостью. Справедливость была единственной ее страстью. Обращаясь к своему прошлому, она не находила в нем ни одного часа, отмеченного слабостью, она видела себя идущей твердым шагом по ровной прямой дороге. Пусть дни бегут – она пойдет

дальше своим спокойным путем, не встречая препятствий. И это делало ее суровой, внушало ей гнев и презрение к тем вымышленным существованиям, героизм которых смущает сердца. Единственно подлинной жизнью была ее жизнь, протекавшая среди безмятежного покоя.

А над Парижем оставалась лишь тончайшая дымка, трепещущий, готовый улететь обрывок газовой ткани. И внезапно Элен ощутила прилив нежности. Любить! Любить! Все возвращало ее к этому слову, звучащему такой лаской, – все, даже гордость, которую ей внушало сознание своей чистоты. Ее мечты становились неуловимыми, глаза увлажнялись, она уже ни о чем не думала, овеянная весной.

Она собиралась вновь взяться за книгу – но тут медленно открылся Париж. Воздух не шелохнулся: казалось, прозвучало заклинание. Последняя легкая завеса отделилась, поднялась, растаяла в воздухе, и город распростерся без единой тени под солнцем-победителем. Опершись подбородком на руку, Элен неподвижно наблюдала это могучее пробуждение.

Бесконечная, тесно застроенная долина. Над едва обозначавшейся линией холмов выступали нагромождения крыш. Чувствовалось, что поток домов катится вдаль – за возвышенности, в уже незримые просторы. То было открытое море со всей безбрежностью и таинственностью его волн. Париж расстилался, необъятный, как небо. В это сияющее утро город, желтея на солнце, казался полем спелых колосьев. В гигантской картине была простота – только два тона: бледная голубизна воздуха и золотистый отсвет крыш. Разлив вешних лучей придавал всем предметам ясную прелесть детства. Так чист был свет, что можно было отчетливо разглядеть самые мелкие детали. Многоизвилистый каменный хаос Парижа блестел, как под слоем хрусталя, – пейзаж, нарисованный в глубине настольной безделушки. Но время от времени в этой сверкающей и недвижной ясности проносилось дуновение ветра, и тогда линии улиц кое-где размягчались и дрожали, словно они видны были сквозь незримое пламя.

Сначала Элен заинтересовалась обширными пространствами, расстилавшимися под ее окнами, склонами, прилегавшими к Трокадеро, и далеко тянувшейся линией набережных. Ей пришлось наклониться, чтобы увидеть обнаженный квадрат Марсова поля, замыкающийся темной поперечной полосой Военной школы. Внизу, на широкой площади и на тротуарах по берегам Сены, она различала прохожих, кишащую толпу черных точек, уносимых движением, подобным суете муравейника; искоркой блеснул желтый кузов омнибуса;

фиакры и телеги, величиной с детскую игрушку, с маленькими, будто заводными лошадками, переезжали через мост. На зелени откосов, среди гуляющих, выделялось пятно света – белый фартук какой-то служанки. Подняв глаза, Элен устремила взор вдаль; но там толпа, распылившись, ускользала от взгляда, экипажи превращались в песчинки; виднелся лишь гигантский остов города, казалось, пустого и безлюдного, живущего лишь глухим, пульсирующим в нем шумом. На переднем плане, налево, сверкали красные крыши, медленно дымились высокие трубы Военной пекарни. На другом берегу реки, между Эспланадой и Марсовым полем, группа крупных вязов казалась уголком парка; ясно виднелись их обнаженные ветви, их округленные вершины, в которых уже кое-где пробивалась зелень. Посредине ширилась и царствовала Сена в рамке своих серых набережных; выгруженные бочки, очертания паровых грузоподъемных кранов, выстроенные в ряд подводы придавали им сходство с морским портом. Взоры Элен вновь и вновь возвращались к этой сияющей водной глади, по которой, подобные черным птицам, плыли барки. Она не в силах была отвести глаза от ее величавого течения. То был как бы серебряный галун, перерезавший Париж надвое. В то утро вода струилась солнцем, нигде вокруг не было столь ослепительного света. Взгляд молодой женщины остановился сначала на мосту Инвалидов, потом на мосту Согласия, затем на Королевском; казалось, мосты сближались, громоздились друг на друга, образуя причудливые многоэтажные строения, прорезанные арками всевозможных форм, – воздушные сооружения, между которыми синели куски речного покрова, все более далекие и узкие. Элен подняла глаза еще выше: среди домов, беспорядочно расползавшихся во все стороны, течение реки раздваивалось; мосты по обе стороны Старого города превращались в нити, протянутые от одного берега к другому, и отливавшие золотом башни собора Парижской Богоматери высились на горизонте, словно пограничные знаки, за которыми река, строения, купы деревьев были лишь солнечной пылью. Ослепленная, Элен отвела глаза от этого блистающего сердца Парижа, где, казалось, пламенела вся слава города. На правом берегу Сены, среди высоких деревьев Елисейских Полей, сверкали белым блеском зеркальные окна Дворца промышленности; дальше, за приплюснутой крышей церкви Св. Магдалины, похожей на надгробный камень, высилась громада Оперного театра, еще дальше виднелись другие здания, купола и башни, Вандомская колонна, церковь Сен-Венсан-де-Поль, башня Св. Иакова, ближе – массивные прямоугольники павильонов Нового Лувра и Тюильри, наполовину скрытые каштановой рощей. На левом берегу сиял позолотой купол Дома инвалидов, за ним бледнели в озарении солнца две неравные башни церкви Св. Сульпиция; еще дальше, вправо от новых шпилей церкви Св. Клотильды, широко утвердясь на холме, четко вырисовывая на фоне неба свою стройную колоннаду, господствовал над городом неподвижно

застывший в воздухе синеватый Пантеон, шелковистым отливом напоминавший воздушный шар.

Теперь Элен ленивым движением глаз охватывала весь Париж. В нем проступали долины, угадываемые по изгибам бесконечных линий крыш. Мельничный Холм вздымался вскипающей волной старых черепичных кровель, тогда как линия главных бульваров круто сбегала вниз, словно ручей, поглощавший теснившиеся друг к другу дома, – черепицы их крыш уже ускользали от взгляда. В этот утренний час стоявшее невысоко солнце еще не освещало сторону домов, обращенную к Трокадеро. Ни одно окно еще не засверкало. Лишь кое-где стекла окон, выходивших на крышу, бросали в красноту жженой глины окружающих черепиц яркие блики, блестящие искорки, подобные искрам слюды. Дома оставались серыми, лишь высветляемые отблесками; вспышки света пронизывали кварталы; длинные улицы, уходившие вдаль прямо перед Элен, прорезали тень солнечными полосами. Необъятный плоский горизонт, закруглявшийся без единого излома, лишь слева горбился холмами Монмартра и высотами кладбища Пер-Лашез. Детали, так отчетливо выделявшиеся на первом плане этой картины, бесчисленные зубчатые вырезы дымовых труб, мелкие штрихи многих тысяч окон, постепенно стирались, узорились желтым и синим, сливались в нагромождении бесконечного города, предместья которого, уже незримые, казалось, простирали в морскую даль усыпанные валунами, утопавшие в лиловатой дымке берега под трепетным светом, разлитым в небе.

Элен сосредоточенно смотрела на Париж. Тут в комнату весело вошла Жанна.

– Мама, мама, погляди-ка!

Девочка держала в руках большой пучок желтых левкоев. Смеясь, она рассказала матери, как, улучив минуту, когда вернувшаяся с рынка Розали убирала провизию, она осмотрела содержимое ее корзинки. Она любила копаться в этой корзинке.

– Посмотри же, мама! А на дне-то вот что было!.. Понюхай, как хорошо пахнет!

Ярко-желтые, испещренные пурпуровыми пятнами цветы источали пряный аромат, распространившийся по всей комнате. Элен страстным движением прижала Жанну к своей груди; пучок левкоев упал ей на колени. Любить,

любить! Правда, она любила своего ребенка. Или мало ей было этой великой любви, наполнявшей до сих пор всю ее жизнь? Ей следовало удовлетвориться этой любовью, нежной и спокойной, вечной, не боящейся пресыщения. И она крепче прижимала к себе дочь, как бы отстраняя мысли, угрожавшие их разлучить. Жанна отдавалась этим неожиданным для нее поцелуям. С влажными глазами она умильным движением тонкой шейки ласково терлась о плечо матери. Потом она обвила руку вокруг ее талии и замерла в этой позе, тихонько прижавшись щекой к ее груди. Между ними струилось благоухание левкоев.

Они долго молчали. Наконец Жанна, не шевелясь, спросила шепотом:

– Видишь, мама, там, у реки, этот купол, весь розовый… Что это такое?

Это был купол Академии. Элен подняла глаза, на мгновение задумалась. И тихо сказала:

– Не знаю, дитя мое.

Девочка удовлетворилась этим ответом. Вновь наступило молчание.

– А здесь, совсем близко, эти красивые деревья? – спросила она, указывая пальцем на проезд Тюильрийского сада.

– Эти красивые деревья? – прошептала мать. – Налево, не так ли?.. Не знаю, дитя мое.

– А! – сказала Жанна.

Потом, задумавшись на мгновение, она добавила серьезным тоном:

– Мы ничего не знаем.

И действительно, они ничего не знали о Париже. За те полтора года, в течение которых он ежечасно был перед их глазами, они не узнали в нем ни одного камня. Только три раза спускались они в город, но вынесли из городской сутолоки лишь головную боль и, вернувшись домой, ничего не могли распознать

в исполинском запутанном нагромождении кварталов.

Все же иногда Жанна упорствовала.

– Ну, уж это ты мне скажешь, – продолжала она, – вон те белые окна… Они такие большие, – ты должна знать, что это такое.

Она указывала на Дворец промышленности.

Элен колебалась:

– Это вокзал… Нет, кажется – театр…

Она улыбнулась, поцеловала волосы Жанны и повторила свой обычный ответ:

– Не знаю, дитя мое.

Они продолжали вглядываться в Париж, уже не пытаясь ознакомиться с ним. Это было так сладостно – иметь его перед глазами и ничего не знать о нем. Для них он воплощал в себе бесконечность и неизвестность. Как будто они остановились на пороге некоего мира, довольствуясь вечным его созерцанием, но отказываясь проникнуть в него. Часто Париж тревожил их, когда от него поднималось горячее и волнующее дыхание. Но в то утро в нем была веселость и невинность ребенка, – его тайна не страшила, а овевала нежностью.

Элен опять взялась за книгу, Жанна, прижавшись к ней, все еще созерцала Париж. В сверкающем неподвижном небе не веяло ни ветерка. Дым, струившийся из труб Военной пекарни, поднимался прямо вверх легкими клубами, терявшимися в высоте. Казалось, по городу на уровне домов пробегали волны – трепет жизни, всей той жизни, что была в нем заключена. Громкий голос улиц в сиянии солнца звучал смягченно, – в нем слышалось счастье. Вдруг какой-то шум привлек внимание Жанны. То была стая белых голубей из какой-то ближней голубятни; они пролетали мимо окна, заполняли горизонт; летучий снег их крыльев застилал собою беспредельность Парижа.

Вновь устремив глаза вдаль, Элен вся ушла в мечты. Она была леди Ровеной, она любила нежно и глубоко, как любят благородные души. Это весеннее утро, этот

огромный город, такой чарующий, эти первые левкои, благоухавшие у нее на коленях, мало-помалу размягчили ее сердце.

Часть вторая

I

Однажды утром Элен приводила в порядок свою библиотечку, в которой рылась уже несколько дней, как вдруг в комнату вбежала Жанна, вприпрыжку и хлопая в ладоши.

– Мама, – крикнула она. – Солдат! Солдат!

– Что? Солдат? – спросила молодая женщина. – Что еще за солдат?

Но на девочку нашел припадок безумного веселья; она прыгала все быстрее, повторяя: «Солдат! Солдат!» – и не входя ни в какие объяснения. Дверь оставалась открытой. Элен встала и с удивлением увидела в передней солдата, маленького солдатика. Розали не было дома. По-видимому, Жанна, несмотря на то, что это ей было строго запрещено, играла на площадке лестницы.

– Что вам нужно, мой друг? – спросила Элен.

Солдатик, чрезвычайно смущенный появлением этой дамы, такой красивой и белой, в отделанном кружевами пеньюаре, кланялся, шаркая ногой по паркету, и торопливо бормотал:

– Простите… Извините…

Он не находил других слов и, все так же шаркая ногами, отступал к стене. Так как отступать дальше было некуда, он, видя, что дама с невольной улыбкой ждет его ответа, торопливо порылся в правом кармане и вытащил оттуда синий платок, складной ножик и кусок хлеба. Окинув взглядом каждый извлекаемый им предмет, солдатик совал его обратно. Потом он перешел к левому карману;

там нашелся обрывок веревки, два ржавых гвоздя и пачка картинок, завернутых в кусок газеты. Он сунул все это назад в карман и испуганно похлопал себя по ляжкам.

– Простите… Извините… – бормотал он растерянно.

Но вдруг, приложив палец к носу, добродушно расхохотался. Простофиля! Вспомнил наконец! Расстегнув две пуговицы шинели, он принялся шарить у себя за пазухой, засунув туда руку по локоть. Наконец он извлек оттуда письмо и, энергично взмахнув им, как будто желая отряхнуть с него пыль, передал его Элен.

– Письмо ко мне, вы не ошибаетесь? – спросила та.

Но на конверте ясно значились ее имя и адрес, написанные нескладным крестьянским почерком, с буквами, падающими друг на друга, как стены карточных домиков. Диковинные обороты и правописание останавливали Элен на каждой строчке письма. Когда наконец она все же уяснила себе его смысл, то невольно улыбнулась. Письмо было от тетки Розали; она посылала к Элен Зефирена Лакура – ему на призыве выпал жребий идти в солдаты, «несмотря на две обедни, отслуженные господином кюре». Ввиду того, что Зефирен был суженым Розали, тетка просила барыню «разрешить детям видеться по воскресеньям». Эта просьба повторялась на трех страницах в одинаковых, все более путаных выражениях, с постоянными потугами выразить что-то, еще не сказанное. Наконец, перед тем как подписаться, тетка, казалось, вдруг нашла то, что искала: изо всех сил нажимая на перо, среди разбрызганных клякс она написала: «Господин кюре разрешил это».

Элен медленно сложила письмо. Разбирая его, она несколько раз приподнимала голову, чтобы взглянуть на солдата. Он стоял, все так же прижавшись к стене. Губы его шевелились; казалось, он легким движением подбородка подкреплял каждую фразу; по-видимому, он знал письмо наизусть.

– Так, значит, вы и есть Зефирен Лакур? – сказала Элен.

Он, засмеявшись, кивнул головой.

– Войдите, мой друг! Не стойте там.

Он решился последовать за ней, но, когда Элен села, остался стоять у двери. Она плохо разглядела его в полумраке передней. Он казался как раз того же роста, что и Розали; одним сантиметром меньше – и его признали бы негодным к военной службе. У него были рыжие, коротко остриженные волосы, совершенно круглое веснушчатое лицо, без малейшего признака растительности, маленькие, будто буравчиком просверленные глазки. В новой, слишком большой для него шинели он казался еще круглее; он стоял, расставив ноги в красных штанах, и покачивал перед собой кепи с широким козырьком, – такой смешной и трогательный, маленький и круглый, придурковатый человечек, от которого еще пахло землей, несмотря на его солдатский мундир.

Элен захотелось расспросить его, получить от него некоторые сведения.

– Вы выехали неделю тому назад?

– Да, сударыня!

– И вот теперь вы в Париже. Вас это не огорчает?

– Нет, сударыня.

Он набрался храбрости, разглядывая комнату, – видимо, на него производили большое впечатление синие штофные обои.

– Розали нет дома, – сказала наконец Элен, – но она скоро вернется… Ее тетка пишет мне, что вы жених Розали.

Солдат ничего не ответил; смущенно ухмыляясь, он опустил голову и опять принялся потирать ковер носком сапога.

– Так, значит, вы женитесь на ней, когда отбудете срок службы? – продолжала молодая женщина.

– Ну, разумеется, – ответил он, краснея до корней волос, – ну, разумеется: я ведь дал слово…

И, ободренный видимой благожелательностью своей собеседницы, он, вертя кепи между пальцами, решился заговорить.

– О! Давненько уж это было… Еще малышами мы вместе с ней по чужим садам лазили. Ну, уж и здорово попадало нам, – что правда, то правда… Нужно вам сказать, что Лакуры и Пишоны жили на той же улице, бок о бок, так что Розали и я, мы вроде как бы из одной миски ели… Потом все ее домашние перемерли. Тетка ее, Маргарита, приютила ее. У нее, у плутовки, уже тогда были такие здоровенные ручищи…

Он остановился, чувствуя, что увлекся, и спросил нерешительным голосом:

– Она, может быть, уже рассказала вам обо всем этом?

– Да, но расскажите и вы, – ответила Элен; ей было забавно слушать его.

– Ну так вот, – продолжал он. – Розали была здоровая и сильная, хоть ростом и не больше жаворонка; так ворочала работу, что только держись. Раз задала она кой-кому – ну и хватила же! У меня целую неделю синяк во всю руку был…
А вышло оно вот как. В деревне все нас прочили друг за друга. Нам еще и десяти лет не было, как мы друг другу слово дали… И оно крепкое, это слово, сударыня, крепкое…

Растопырив пальцы, он прижал руку к сердцу. Элен все же призадумалась. Мысль, что солдат будет бывать на кухне, беспокоила ее. Несмотря на разрешение господина кюре, она находила это несколько рискованным. В деревне нравы вольные, и влюбленные многое позволяют себе. Она намекнула солдату на свои опасения. Когда Зефирен понял ее, он стал давиться от смеха, однако из почтения сдержался.

– Ах, сударыня! Ах, сударыня!.. Видно, вы ее не знаете. Сколько затрещин мне от нее влетело… Господи боже! Как парню не побаловаться, так ведь? Ну, я щипал ее, случалось. А она каждый раз как повернется – и бах! Прямо в морду… Тетка, вишь, твердила ей: «Помни, девушка, не давай себя щекотать: к добру это не приведет». И кюре тоже вмешивался. Пожалуй, оттого и дружба наша такая крепкая… Мы должны были пожениться после жеребьевки. Да вот поди ж ты, не повезло нам. Розали решила, что она поступит в прислуги, чтобы накопить себе приданое, дожидаясь меня… Ну и вот, ну и вот…

Он покачивался, перекидывая кепи из одной руки в другую. Но так как Элен молчала, ему показалось, что она сомневается в его верности. Это очень задело его. Он воскликнул с жаром:

– Вы, может быть, думаете, что я обману ее?.. Да я же говорю вам, что дал слово. Я женюсь на ней – это так же верно, как то, что солнце нам светит!.. Хоть сейчас могу подписку дать… Да, коли хотите, я подпишу бумагу…

Он взволнованно зашагал по комнате, ища глазами перо и чернила. Элен пыталась успокоить его.

– Я лучше подпишу бумагу, – повторял он. – Вам это не помешает. Тогда бы вы уж были покойны!

Но как раз в это мгновение Жанна, опять было исчезнувшая, вернулась в комнату, приплясывая и хлопая в ладоши.

– Розали! Розали! Розали! – пела она на веселый мотив, сочиненный ею.

Действительно, сквозь открытые двери слышалось тяжелое дыхание служанки; она, запыхавшись, поднималась с корзинкой по лестнице. Зефирен отступил в угол комнаты; неслышный смех растянул ему рот от уха до уха; маленькие глазки блестели деревенским лукавством. Розали, по усвоенной ею фамильярной привычке, вошла прямо в комнату, чтобы показать хозяйке купленную на рынке провизию.

– Сударыня, – сказала она, – я купила цветной капусты… Посмотрите-ка… Два кочна за восемнадцать су, это недорого…

Она протянула Элен приоткрытую корзинку – и вдруг, подняв голову, увидела усмехающегося Зефирена. Ошеломленная, она словно приросла к ковру. Прошло две-три секунды; она, по-видимому, не сразу узнала его в военной форме. Ее круглые глаза расширились, маленькое жирное лицо побледнело, жесткие черные волосы зашевелились.

– Ох! – сказала она. От удивления она выпустила корзину из рук. Овощи – цветная капуста, лук, картофель – покатились на ковер. Жанна испустила

восторженный крик и бросилась на пол посреди комнаты – подбирать картофелины, залезая даже под кресла и зеркальный шкаф. А Розали, все еще в оцепенении, не двигалась с места, повторяя:

– Как! Это ты… Что ты здесь делаешь, а? Что ты здесь делаешь?

Она повернулась к Элен.

– Так это вы впустили его? – спросила она.

Зефирен молчал, лукаво прищурясь. Тогда на глазах у Розали выступили слезы умиления, и, желая выразить свою радость, она не нашла ничего лучшего, как поднять Зефирена на смех.

– Ну, уж нечего сказать, – затараторила она, подойдя к солдату, – хорош ты, пригож ты в этом наряде. Попадись ты мне на улице, я даже не узнала бы тебя… Ну и образина! Похоже, будто ты надел на себя сторожевую будку. И славно же они выбрили тебе голову; ты похож на пуделя нашего пономаря… Господи! Ну и урод, ну и урод же ты!

Раздосадованный Зефирен наконец заговорил:

– Уж не моя в том вина, конечно… Взяли бы тебя в полк, посмотрел бы я на тебя!

Они совершенно забыли, где находятся, – забыли и Элен и Жанну, продолжавшую подбирать картофель. Розали стала против Зефирена, скрестив руки на переднике.

– Как там у нас – все ладно? – спросила она.

– Да. Только корова у Гиньяров заболела. Был ветеринар и сказал им, что у нее нутро полно воды.

– Уж если полно воды, так кончено… А прочее все ладно?

– Да, да… Полевой сторож сломал себе руку… Умер дядюшка Каниве. Господин кюре по дороге из Гранвеля потерял кошелек, в нем было тридцать су… А так

все ладно.

Оба замолчали. Они смотрели друг на друга блестящими глазами, сморщив губы и медленно шевеля ими в умильной гримасе. Вероятно, это им заменяло поцелуи; они даже не пожали друг другу руку. Но Розали внезапно оторвалась от этого созерцания и стала причитать над рассыпанными по полу овощами. Ну и кавардак! Вот что она из-за него наделала! Барыне следовало бы заставить его обождать на лестнице. Не переставая ворчать, она наклонилась и начала собирать картофель, лук и цветную капусту в корзину, к великой досаде Жанны, которой не хотелось, чтобы ей помогали. Розали уже собралась было уйти в кухню, не глядя больше на Зефирена. Элен, тронутая простодушным спокойствием обоих влюбленных, остановила ее и сказала:

– Послушайте, милая! Ваша тетка просит меня разрешить этому молодому человеку приходить к вам по воскресеньям… Он придет сегодня после полудня. Постарайтесь, чтобы ваша работа не слишком пострадала от этого.

Розали, остановившись, только повернула голову. Она была очень довольна, но лицо ее сохраняло досадливое выражение.

– Ах, сударыня, он будет мне очень мешать! – крикнула она. И, бросив через плечо взгляд на Зефирена, опять состроила ему умильную гримасу. Минуту-другую маленький солдат оставался неподвижным, неслышно смеясь во весь рот. Потом он, пятясь, удалился, рассыпаясь в благодарностях и приложив руку к сердцу. Дверь уже закрылась за ним, а он все еще кланялся на площадке лестницы.

– Это брат Розали, мама? – спросила Жанна.

Элен была смущена этим вопросом. Она пожалела о разрешении, только что данном ею во внезапном порыве доброты, которому сама удивлялась. Подумав несколько секунд, она ответила:

– Нет, это ее кузен.

– А! – сказала девочка серьезно.

Кухня Розали выходила в сад доктора Деберля, прямо на солнце. Летом в широкое окно проникали ветки вязов. Это была самая веселая комната квартиры, вся залитая солнцем, так ярко освещенная, что Розали даже пришлось повесить на окно синюю коленкоровую штору, которую она задергивала после полудня. Она жаловалась только на одно: на тесноту этой кухоньки, узкой и длинной; плита помещалась справа, стол и шкаф для посуды – слева. Но Розали так удачно разместила утварь и мебель, что выгадала себе у окна уголок, где работала по вечерам. Ее гордостью было содержать кастрюли, чайники, блюда в безукоризненной чистоте. Поэтому, когда кухня освещалась солнцем, стены излучали сияние: медные кастрюли искрились золотом, выпуклости жестяной посуды сверкали, точно серебряные луны; бледные тона белых и голубых изразцов плиты еще ярче оттеняли весь этот блеск.

В следующую субботу, вечером, Элен услышала на кухне такую возню, что пошла посмотреть, что там происходит.

– Что тут такое? – спросила она. – Вы, видно, воюете с мебелью?

– Я делаю уборку, – отвечала Розали. Растрепанная, обливаясь потом, она сидела на корточках и терла пол изо всей силы своих маленьких рук.

Покончив с мытьем пола, она принялась вытирать его. Никогда еще не наводила она в своей кухне такой красоты. Новобрачная могла бы избрать эту кухню своей спальней – все там было вычищено до блеска, словно к свадьбе. Стол и шкаф казались выструганными заново, – так она потрудилась над ними. Всюду царил безукоризненный порядок: кастрюли и горшки были расставлены по размерам, каждый предмет висел на своем гвозде, сковороды и решетка очага блестели, без единого пятна копоти. С минуту Элен стояла молча; потом, улыбнувшись, ушла.

С тех пор каждую субботу производилась такая же уборка; целых четыре часа Розали проводила в пыли и воде: ей хотелось показать в воскресенье Зефирену, какую она наводит чистоту. Воскресенье было для нее приемным днем. Заметь она где-нибудь паутинку, она сгорела бы со стыда. Когда все вокруг нее блестело, она приходила в хорошее настроение и принималась напевать. В три часа она снова мыла руки и надевала чепец с лентами. Потом, наполовину задернув бумажную штору, чтобы смягчить, как в будуаре, резкий солнечный свет, она ждала Зефирена среди этого безукоризненного порядка; в кухне приятно пахло тмином и лавровым листом.

Ровно в половине четвертого являлся Зефирен; он гулял по улице, дожидаясь, пока пробьют часы. Розали прислушивалась к стуку его тяжелых сапог по ступеням лестницы и отворяла ему, когда он останавливался на площадке. Она запретила ему касаться звонка. Каждый раз они обменивались одними и теми же словами:

– Это ты?

– Да, я.

И они долго пристально смотрели в лицо друг другу; глаза у них искрились лукавством, губы были плотно сжаты. Затем Зефирен следовал за Розали на кухню; прежде чем впустить туда солдата, она снимала с него кивер и саблю. Она не хотела держать такие вещи на кухне и запихивала их в глубь стенного шкафа. После этого она сажала своего вздыхателя у окна, в свободный уголок, и уже не позволяла ему двигаться с места.

– Сиди смирно… Смотри, если хочешь, как я буду готовить обед господам.

Зефирен почти никогда не приходил с пустыми руками. Обычно он употреблял праздничное утро на прогулку с товарищами в Медонских рощах, где проводил время в бесконечных и бесцельных шатаниях, впивая воздух просторов со смутным сожалением о родной деревне. Чтобы дать работу рукам, он срезал палочки, обстругивал их на ходу, украшал их затейливой резьбой; все более замедляя шаг, он останавливался у придорожных канав, сдвинув кивер на затылок, не отрываясь взглядом от ножа, врезающегося в дерево. У него не хватало духу бросать эти палочки, он приносил их Розали; та брала их, слегка браня Зефирена, – это, дескать, загрязняет ее кухню. На самом же деле она их собирала; у нее под кроватью лежал целый пук таких палочек самой разнообразной длины и рисунка.

Однажды Зефирен явился с гнездом, полным птичьих яиц; он принес его в своем кивере, прикрыв платком. Яичница из сорочьих яиц была, по его словам, очень вкусным блюдом. Розали выкинула эту гадость, но оставила гнездо – она запрятала его туда же, где хранились палочки. Кроме того, у Зефирена всегда были доверху набиты карманы. Он извлекал из них разные диковинки: прозрачные камешки, подобранные на берегу Сены, мелкую железную рухлядь, полузасохшие дикие ягоды, всякие изуродованные обломки, которыми

пренебрегли старьевщики. Главной его страстью были картинки. Он подбирал, идя по улице, бумажки, когда-то служившие оберткой плиткам шоколада и кускам мыла: на них красовались негры и пальмы, египетские танцовщицы и букеты роз. Крышки старых прорванных коробок с изображением мечтательных блондинок, глянцевитые картинки и фольга из-под леденцов, брошенные посетителями окрестных ярмарок, были для него редкими находками, преисполнявшими его счастьем. Вся эта добыча исчезала в его карманах; наиболее ценные приобретения он заворачивал в обрывок газеты, и в воскресенье, когда у Розали выпадала свободная минута между супом и жарким, он показывал ей свои картинки. Не хочет ли она их взять? Это ей в подарок! Бумага вокруг картинок не всегда была чиста, и поэтому он вырезал их, – это было для него большим развлечением. Розали сердилась: обрезки бумаги залетали в ее блюда; и нужно было видеть, с каким чисто крестьянским лукавством, принесенным из далекой деревни, он в конце концов завладевал ее ножницами. Иногда, чтобы избавиться от него, она сама давала их ему.

Тем временем на сковороде шипела подливка. Розали помешивала ее деревянной ложкой. Зефирен, наклонив голову, вырезал картинки. Волосы у него были острижены так коротко, что просвечивала кожа головы: из-под оттопыренного сзади желтого воротника виднелась загорелая шея; спина казалась еще шире от красных погон. Порою за целые четверть часа они не обменивались ни единым словом. Когда Зефирен поднимал голову, он с глубоким интересом смотрел, как Розали берет муку, рубит укроп, сыплет соль, перец. Изредка у него вырывались слова:

– Черт возьми! И вкусно же пахнет!

Кухарка в пылу увлечения не сразу удостаивала его ответом. После длительной паузы она в свою очередь говорила:

– Подливка, видишь ли, должна протомиться.

Их беседы не выходили за эти пределы. Они даже не говорили о своей родине. Когда что-либо приходило им на память, они понимали друг друга с одного слова и целыми часами смеялись про себя. Этого им было достаточно. Когда Розали выставляла Зефирена за дверь, оба были очень довольны своим времяпрепровождением.

– Ну, ступай! Пора подавать на стол!

Она вручала ему его кивер и саблю и толкала его к двери, а затем с сияющим лицом подавала Элен обед, а Зефирен, размахивая руками, возвращался в казармы, унося с собой вкусный, приятно щекотавший ноздри запах тмина и лаврового листа.

Первое время Элен считала нужным наблюдать за ними. Иногда она неожиданно входила в кухню, чтобы отдать распоряжение. И всегда заставала Зефирена на обычном месте: он сидел между столом и окном, подобрав ноги, – для них не хватало места из-за большого каменного чана в углу. При появлении Элен он поднимался с места и стоял, как под ружьем, отвечая на ее слова лишь поклонами и почтительным бормотанием. Мало-помалу Элен успокоилась, видя, что она никогда не застает их врасплох и что на лице у них всегда одно и то же спокойное выражение терпеливых влюбленных.

В ту пору Розали даже казалась гораздо развязнее Зефирена. Как-никак она уже несколько месяцев жила в Париже, в ней уже меньше замечалась растерянность крестьянки, попавшей в столицу, хотя знала она всего три улицы: Пасси, Франклина и Винез. А Зефирен в полку оставался дурачком. Розали уверяла Элен, что он тупеет, в деревне он, право же, был шустрей. Это все от мундира, говорила она; все парни, которых забирали в солдаты, глупели так, что дальше идти некуда. И действительно, Зефирен, ошеломленный новым образом жизни, таращил глаза и покачивался, как гусь. Он и в мундире сохранил неповоротливость крестьянина и еще не приобрел в казармах бойкости языка и победоносных ухваток столичного душки военного. О! Барыня может не беспокоиться. Ему-то уж не придет в голову баловаться!

Поэтому Розали выказывала в отношении Зефирена материнскую заботливость. Укрепляя вертел над огнем, она читала Зефирену наставления, не скупилась на добрые советы, предупреждая его об омутах, которых ему надлежало остерегаться, и он повиновался, соглашаясь с каждым советом энергичным кивком головы. Каждое воскресенье он клялся ей, что ходил к обедне, что прочел утром и вечером положенные молитвы. Она также уговаривала его быть опрятным, чистила ему щеткой одежду перед уходом, пришивала болтавшуюся пуговицу на куртке, осматривала его с ног до головы, удостоверяясь, нет ли в чем-нибудь изъяна. Она заботилась и о его здоровье, указывала ему средства против всевозможных болезней. Желая отблагодарить Розали за ее заботы, Зефирен не раз предлагал наполнить чан водой. Долго она отказывалась, боясь,

что он разольет воду. Но однажды он принес два ведра, не расплеснувши на лестнице ни капли; с тех пор обязанность наполнять чан водой лежала по воскресеньям на нем. Он оказывал ей и другие услуги, выполнял все тяжелые работы, преисправно ходил в лавку за маслом, когда она забывала запастись им. Потом Зефирен взялся за стряпню. Сначала он чистил овощи. Немного спустя Розали позволила ему резать их. Через шесть недель он, правда, еще не касался соусов, но уже следил за ними с деревянной ложкой в руке. Розали сделала его своим помощником, и смех нападал на нее порой, когда она видела, как Зефирен, в красных штанах и желтом воротнике, хлопочет у плиты, перекинув тряпку через руку, как заправский поваренок.

Однажды в воскресенье Элен пошла на кухню. Мягкие туфли приглушали звук ее шагов. Она остановилась на пороге: ни служанка, ни солдат не заметили ее прихода. Зефирен сидел в своем углу перед чашкой дымящегося бульона. Розали, стоя спиной к двери, нарезала ему хлеб тонкими ломтями.

– Кушай, малыш, – приговаривала она, – ты слишком много ходишь, оттого и худеть стал. На тебе! Хватит? Или еще хочешь?

И она следила за ним нежным, обеспокоенным взглядом. Он, весь круглый, неуклюже нагнулся над чашкой, заедая каждый глоток ломтиком хлеба. Его желтое от веснушек лицо покраснело от горячего пара.

– Черт возьми! Суп на славу, – бормотал он. – Что это ты кладешь в него?

– Постой, – проговорила она, – если ты любишь порей…

Но тут, обернувшись, она увидела барыню и вскрикнула. Оба оцепенели. Затем Розали принялась извиняться, слова ее лились потоком:

– Это моя доля, сударыня, верьте мне… Я бы за обедом уж не взяла себе бульону… Клянусь вам всеми святыми. Я сказала ему: «Если хочешь мою долю бульону, я отдам тебе ее…» Ну, говори же: ты ведь знаешь, как дело было…

Встревоженная молчанием хозяйки, она подумала, что та рассердилась.

– Он умирал с голоду, сударыня, – продолжала она разбитым голосом. – Он утащил у меня сырую морковку. Их кормят так скверно! К тому же он, подумайте, отмахал такую даль по берегу реки, бог знает куда… Знали бы вы это, сударыня, вы бы сами сказали мне: «Розали, дайте ему бульону…»

Видя, что солдат сидит с набитым ртом, не смея проглотить кусок, Элен не могла выдержать сурового тона. Она ответила мягко:

– Ну что ж, милая! Когда ваш жених будет голоден, пригласите его к обеду, вот и все… Я разрешаю вам это.

Глядя на них, она ощутила прилив той нежности, которая однажды уже заставила ее забыть свою строгость. Они были так счастливы в этой кухне. Из-за полузадернутой коленкоровой шторы светило заходящее солнце. В глубине пылала на стене медная посуда, бросая розовый отблеск в полумрак комнаты. И в этой золотистой тени четко выделялись маленькие круглые лица влюбленных, спокойные и ясные, как луна. В их чувстве была такая безмятежно ясная уверенность, что оно не нарушало безукоризненного порядка кухонной утвари. Они наслаждались, втягивая в себя подымавшиеся от плиты запахи, ощущая приятную сытость, вполне довольные друг другом.

– Скажи, мама, – спросила вечером после долгого раздумья Жанна, – почему кузен Розали никогда не целует ее?

– А зачем им целоваться! – отвечала Элен. – Они поцелуются в день своих именин.

II

Во вторник, после супа, Элен, прислушавшись, сказала:

– Какой потоп! Слышите? Вы насквозь промокнете сегодня вечером, мои бедные друзья!

– О, это не страшно, – пробормотал аббат, старая сутана которого уже намокла.

– Мне далеко домой, – вставил господин Рамбо, – но я все-таки вернусь пешком; люблю гулять в такую погоду… Да и зонтик у меня есть.

Жанна размышляла, серьезно разглядывая ложку вермишели, которую поднесла ко рту. Затем она медленно проговорила:

– Розали сказала, что вы не придете из-за плохой погоды… А мама – что придете… Вы очень милые – всегда приходите…

Сидевшие за столом улыбнулись. Элен ласково кивнула головой, глядя на обоих братьев. Снаружи по-прежнему доносился глухой рокот ливня; ставни трещали под резкими порывами ветра. Казалось, вернулась зима. Розали тщательно задернула красные репсовые занавески: маленькая столовая, озаренная ровным светом белой висячей лампы, закрытая со всех сторон, надежно защищенная от порывов урагана, дышала тихим, кротким уютом. Нежные блики играли на фарфоре, украшавшем буфет красного дерева. И среди этой мирной обстановки четверо людей, сидевших за столом, накрытым с буржуазно-нарядной аккуратностью, ожидали, неспешно беседуя, когда служанке заблагорассудится подать следующее блюдо.

– А… вам пришлось подождать, – ничего! – фамильярно сказала Розали, входя с блюдом в руках. – Это жареная камбала в сухарях для господина Рамбо, а известно – рыбу нужно снимать с огня в последнюю минуту.

Чтобы позабавить Жанну и доставить удовольствие Розали, гордившейся своими кулинарными талантами, господин Рамбо притворялся лакомкой. Повернувшись к ней, он спросил:

– Ну-ка, что вы нам дадите сегодня? У вас всегда сюрпризы, когда я уже сыт.

– О! – возразила она. – Сегодня у нас три блюда, как всегда; только и всего… После камбалы вы получите баранину и брюссельскую капусту… И, правда же, больше ничего…

Но господин Рамбо покосился на Жанну. Девочка от души веселилась; зажимая рот обеими руками, чтобы не рассмеяться, она мотала головой, как будто желала сказать, что Розали говорит неправду. Господин Рамбо недоверчиво пощелкал языком. Розали сделала вид, что сердится.

– Вы мне не верите, – продолжала она, – потому что барышня смеется… Ну что ж, верьте ей, берегите аппетит: посмотрим, не придется ли вам, вернувшись домой, снова сесть за стол.

Когда она ушла, Жанна, смеявшаяся все сильнее, чуть не проболталась.

– Ты слишком большой лакомка, – начала она. – Я-то побывала на кухне…

Она вдруг прервала себя.

– Ах нет, ему нельзя этого говорить! Правда, мама? Больше не будет ничего, ровно ничего. Это я нарочно смеялась, чтобы обмануть тебя.

Эта сцена повторялась каждый вторник и всегда с одинаковым успехом. Готовность, с которой господин Рамбо участвовал в этой игре, трогала Элен, тем более что она знала, что долгие годы он жил с чисто провансальской умеренностью, съедая за день один анчоус и полдюжины маслин. Что касается аббата Жув, то он никогда не замечал, что ест: над его неведением и рассеянностью в этой области нередко даже подшучивали. Жанна следила за ним блестящими глазами. Когда блюдо было подано, она обратилась к священнику:

– Ну, как мерлан – очень вкусный?

– Очень вкусный, моя дорогая, – пробормотал он. – А ведь правда – это мерлан! Я думал, это тюрбо.

И когда все засмеялись, он наивно спросил, над чем они смеются. Розали, только что вернувшаяся в столовую, была очень задета. У нее-то на родине господин кюре не в пример лучше разбирался в кушаньях: разрезая птицу, он определял ее возраст с ошибкой на какую-нибудь неделю; ему даже не надо было входить в кухню, чтобы узнать, какой будет обед: он это угадывал по запаху. Господи боже! Служи она у такого кюре, как господин аббат, она до сих пор не умела бы изготовить яичницу… И священник извинялся с таким смущением, словно полное отсутствие гастрономического чутья было его непоправимым недостатком. Но, право же, ему приходится думать о стольких других вещах!

– Вот это – баранья ножка, – объявила Розали, ставя жаркое на стол.

Все снова рассмеялись, аббат Жув – первый. Наклонив свою большую голову, он сощурил узкие глаза.

– Да, это, несомненно, баранья ножка, – сказал он. – Мне кажется, я и сам бы догадался.

Впрочем, в тот день аббат был рассеяннее обычного. Он ел быстро, с торопливостью человека, который скучает за столом, а дома завтракает стоя; покончив с едой, он дожидался остальных, погруженный в свои мысли, лишь улыбкой отвечая на обращенные к нему слова. Он поминутно бросал на брата ободряющие и вместе с тем тревожные взгляды. Господин Рамбо тоже, казалось, утратил свое обычное спокойствие, но его волнение выражалось в том, что он много говорил и беспокойно двигался на стуле, что было несвойственно его рассудительной натуре. После брюссельской капусты наступило молчание, так как Розали задержалась со сладким. Снаружи дождь лил еще сильнее прежнего, обильные потоки воды обрушивались на дом. В столовой становилось душно. Элен почувствовала, что атмосфера уже не та, что на душе у обоих братьев есть что-то, о чем они умалчивают. Она посмотрела на них с участием и наконец промолвила:

– Господи, какой ужасный дождь… Не правда ли? Он действует угнетающе… Вам обоим как будто нездоровится…

Но они ответили отрицательно, поспешили успокоить ее. И, воспользовавшись тем, что в комнату вошла Розали с огромным блюдом в руках, господин Рамбо, чтобы скрыть свое волнение, воскликнул:

– Что я говорил! Опять сюрприз!

На этот раз сюрпризом оказался ванильный крем – одно из тех блюд, которые всегда являлись для кухарки триумфом. И надо было видеть широкую немую улыбку, с которой она поставила его на стол. Жанна хлопала в ладоши, повторяя:

– А я знала, а я знала!.. Я видела яйца на кухне.

– Но я сыт по горло, – сказал с отчаянием господин Рамбо. – Я не в состоянии есть.

Тогда Розали вдруг стала серьезной. Полная сдержанного гнева, она сказала просто и с достоинством:

– Как! Крем, который я приготовила специально для вас. Попробуйте только не поесть его! Да, попробуйте-ка…

Господин Рамбо, покорившись, положил себе большую порцию крема. Аббат оставался рассеянным. Свернув салфетку, он встал, не дожидаясь конца обеда, – он нередко делал это. Несколько минут он ходил взад и вперед, склонив голову к плечу; затем, когда Элен, в свою очередь, встала из-за стола, он, бросив господину Рамбо многозначительный взгляд, увел молодую женщину в спальню. Они оставили дверь открытой; почти тотчас же послышались их тихие голоса; слов нельзя было различить.

– Кончай скорее, – сказала Жанна господину Рамбо, который, казалось, никак не мог доесть бисквит. – Я хочу показать тебе свою работу.

Но он не торопился. Все же, когда Розали начала убирать со стола, ему пришлось встать.

– Подожди-ка, подожди, – бормотал он Жанне, тащившей его в спальню. Он смущенно и боязливо отстранялся от двери. Услышав, что аббат повысил голос, он почувствовал такую слабость, что вынужден был снова сесть за обеденный стол. Он вытащил из кармана газету.

– Я сделаю тебе колясочку, – объявил он Жанне.

Жанна сразу перестала звать его в спальню. Господин Рамбо восхищал ее своим уменьем вырезать из листа бумаги всевозможные игрушки. Он делал петушков, лодочки, епископские митры, тележки, клетки. Но в этот день его пальцы, складывая бумагу, дрожали и работа не удавалась ему. При малейшем звуке, доносившемся из соседней комнаты, он опускал голову. Жанна, крайне заинтересованная, облокотилась о стол рядом с ним.

– А потом ты сделаешь петушка, чтобы запрячь его в колясочку, – сказала она.

Аббат Жув стоял в глубине спальни, в прозрачной тени, отбрасываемой абажуром. Заняв свое обычное место у столика, Элен принялась за работу – она не стеснялась со своими друзьями. В ярком круге от лампы были видны только ее бледные руки; она шила детский чепчик.

– Жанна больше не тревожит вас? – спросил аббат.

Она покачала головой, прежде чем ответить.

– Доктор Деберль как будто совсем спокоен за нее, – сказала она. – Но бедная девочка еще очень нервна… Вчера я нашла ее на стуле без сознания.

– Она мало двигается, – продолжал аббат. – Вы слишком уединяетесь, вы недостаточно живете той жизнью, которою живут все другие.

Он умолк, наступила тишина. По-видимому, он нашел тот переход, которого искал, но перед тем, как начать, хотел собраться с мыслями. Взяв стул, он сел рядом с Элен.

– Послушайте, дорогая дочь моя, – сказал он. – Я с некоторых пор собираюсь серьезно поговорить с вами. Жить так, как вы живете здесь, не годится. В ваши годы не живут затворницей; это отречение столь же вредно вашему ребенку, как и вам… Существует тысяча опасностей и в смысле здоровья, и других…

Элен удивленно подняла голову.

– Что вы хотите этим сказать, мой друг? – спросила она.

– Господи боже! Я мало знаю свет, – продолжал священник, слегка смутившись, – но все же знаю, что молодая женщина, когда у нее нет надежной опоры, подвергается многим опасностям. Словом, вы слишком одиноки, и это одиночество, в котором вы упорствуете, отнюдь не полезно, поверьте. Настанет день, когда вы будете от него страдать.

– Да я ведь не жалуюсь, мне очень хорошо, – воскликнула она с некоторой горячностью.

Старый священник тихо покачал большой головой.

– Конечно, это очень сладостно. Вы чувствуете себя вполне счастливой, я понимаю. Но тот, кто вступил на наклонный путь одиночества и мечты, никогда не знает, куда он его приведет… О, я знаю вас, вы не способны ни на что дурное… Но рано или поздно вы рискуете утратить на этом пути свой душевный покой. Придет день – и то место, которое вы оставляете пустым возле себя и в себе, окажется заполненным мучительным чувством, в котором вы сами не захотите себе признаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/emil-zolya/stranica-lyubvi

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити